

The background of the cover is a detailed illustration. On the left, a large tree with vibrant yellow and orange autumn leaves stands prominently. A path of dry, golden-brown grass and stones leads from the bottom center towards a distant, dark figure. On the right, a massive, dark stone castle or fortress rises, featuring Gothic-style arches and a tall, partially ruined tower. The sky is a mix of blue and white, with soft, wispy clouds. The overall mood is one of a vast, ancient, and slightly mysterious landscape.

Светлана Дроздова

**Легенда о
Зеркальном
Королевстве.
Книга 4**

Светлана Дроздова

**Легенда о Зеркальном
Королевстве. Книга 4**

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 4 / С. В. Дроздова —
«Автор», 2026

Эйнар, лишившийся отражения и тени, ведёт за собой остатки союза Детей Бурь и Стражей через Пустошь к проклятой Мельнице — источнику Распада. После победы над вождём Гармом, добровольно ушедшим в изгнание, отряд спускается в Забытые Залы, где их подстерегают древние ловушки: Врата Безмолвия, открывающиеся только пустоте, Зеркальный Склеп, убивающий отражениями, и Сторожевые Псы, возвращающие удары. Эйнар стареет с каждым видением, его пустота растёт, но он не останавливается. Ослепнув, чтобы не видеть тысячи собственных смертей, он учится доверять возлюбленной Ирис — его глазам и голосу. Вместе с Хьялмаром, раненым Стурлой и безмолвным Стражем Шестым они проходят через катастрофы восприятия, находят приют в «мёртвой комнате» — единственном месте без лжи, — и готовятся к последней битве. Эйнар несёт не только свою судьбу, но и память о тех, кто рассыпался в пыль. Пока пыль поёт, он идёт — туда, где умирает время и рождается правда.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 4

ГЛАВА 46. ПОКУШЕНИЕ

Часть первая: Вино для избранных

I

Эйнар проснулся от того, что тишина стала липкой, как старая, застывшая кровь.

Он лежал на спине, глядя в серое, пустое небо Плато, и чувствовал, как чёрный, гладкий камень под спиной отдаёт холод, которого не было в воздухе. После вчерашней свадьбы — если этим страшным, мрачным ритуалом можно было назвать свадьбу — лагерь Детей Бурь и Стражей затих, но не успокоился. Он затаился, как зверь перед прыжком, как нож перед ударом, как ложь перед тем, как стать правдой.

Он пошевелил пальцами левой руки — они гнулись легко, почти безболезненно. Шрам, который оставил нож Стража, стал тонким, серебристым, похожим на тот, что украшал левую щеку Ирис. Два шрама — две памяти, две встречи со смертью, которая не взяла их, потому что они были нужны друг другу.

Он сел, опираясь на здоровую руку. Отцовы сапоги привычно обхватили голени. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте.

Ирис не спала. Она сидела в трёх шагах, прислонившись спиной к чёрному камню, и смотрела на восток, туда, где небо начинало светлеть бледной, болезненной желтизной. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в его глубине, под тонкой, потрескавшейся кожей, пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. На левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам.

— Ты не спал, — сказала она, не оборачиваясь.

— Не спал, — ответил он, поднимаясь. — Думал.

— О чём?

— О Гарме. Вчера он был слишком спокоен. Улыбался. Поднимал тост за меня. Смотрел на меня, и в его глазах не было ненависти. Только... предвкушение. Как у волка, который загнал добычу в угол и решает, с какой стороны укусить.

Ирис повернулась к нему. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Согласие.

— Я тоже заметила, — сказала она. — Он не проиграл. Он затаился. Вчерашняя свадьба — не его победа и не твоя. Это его... перемирие с самим собой. Он позволил Руну жениться на Брин, потому что у него не было выбора. Но он не позволит тебе остаться в живых. Не после того, как ты стал важнее его.

Она замолчала. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

II

Брин подошла к ним, когда свет из трещин в камне стал чуть ярче — наступило утро Плато.

Она шла медленно, опираясь на обломок копья, и её доспех трещал при каждом шаге. Чёрный, маслянистый, покрытый трещинами, он пульсировал слабым, голубоватым светом, но не так, как вчера. Тише. Устале. Как будто сама мысль о том, что она теперь жена Руна, высосала из него последние силы. Из трещин сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая, но не та, громкая песня, которую Эйнар слышал в «звонящий час», — другая. Тихая, почти неслышная, похожая на шёпот, на вздох, на прощание.

Рядом с ней, в двух шагах, шёл Рун. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Топор висел на поясе, и его палыцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимали древко так, что костяшки побелели. Он не смотрел на Брин. Смотрел на Эйнара. И в его взгляде — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — не было ненависти. Был вопрос. «Почему ты? Почему она смотрит на тебя, а не на меня?»

— Гарм зовёт на пир, — сказала Брин, и голос её был слабым, едва слышным, как шёпот пыли. — Второй день. В честь... нашего брака. Он сказал, что сегодня будет пить за всех. И за тебя особенно, пустой.

— Особенно? — переспросил Эйнар, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

— Особенно, — повторила Брин, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — мелькнуло что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Предупреждение. — Берегись, пустой. Он говорил о тебе с воинами прошлой ночью. Шёпотом. В своём шатре. Я не слышала слов — только голос. Тон. Он не хвалил тебя. Он... считал.

— Считал? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на холодную насторожённость.

— Считал, сколько воинов пойдут за ним, если он прикажет убить тебя, — ответила Брин. — И сколько пойдут за тобой. Он не уверен. Это его бесит. Он привык, что его боятся. А сейчас он боится сам. И это делает его опаснее. Во сто крат.

Она замолчала, развернулась и пошла обратно в лагерь, не дожидаясь ответа. Рун — за ней, молча, как тень, как цепь, как приговор.

III

Пир начался через час после полудня.

Столы были сложены из плоских камней — грубых, холодных, покрытых тонким слоем чёрной, маслянистой пыли. На них стояли миски с кашей — тёмной, жидкой, пахнущей дымом и травами, с тёмными прожилками, которые могли быть мясом, а могли быть чем-то ещё. В кувшинах плескалась вода — мутная, серая, с мелкими пузырьками воздуха, застывшими внутри, как мухи в янтаре. И было ещё что-то — кислое, терпкое, похожее на настойку из корней, которую Сайга варила для раненных в бою. Это питьё было горьким, но оно согревало изнутри, и это было главным.

Воины Гарма сидели на камнях слева. Стражи — справа. Между ними — пустое пространство в десять шагов, которое никто не решался пересечь. Только Рун и Брин сидели в центре, на одном камне, но не касаясь друг друга. Их спины были прямыми, глаза смотрели в разные стороны, и только общая тень — длинная, чёрная, правильная — напоминала о том, что они теперь связаны.

Гарм сидел во главе стола, на возвышении из черепов, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — скользил по лицам собравшихся, останавливаясь на каждом на секунду, на две, на три. Он искал. Или взвешивал. Или считал.

Эйнар сидел на камне в стороне, между двумя группами, ни с теми, ни с другими. Ирис — рядом, опираясь на посох. Её левая нога — та, что попала в капкан, — всё ещё болела, но она не жаловалась. Никогда не жаловалась. Даже когда думала, что он не видит.

— Смотри, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную констатацию факта. — Гарм пьёт за всех, кроме тебя. Каждый тост — мимо. Каждое поднятие кубка — в другую сторону. Он делает вид, что не замечает тебя. Но он тебя видит. Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Каждую твою стрелу в колчане.

— Я знаю, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. — Сегодня что-то будет.

— Откуда знаешь?

— Дар молчит. Но тело знает. Кости знают. Та пустота, что внутри меня, — она сжимается, как перед броском. Как перед ударом. Как перед смертью.

Он замолчал. Ирис взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую, — и они сидели так, глядя на пир, который был похож на похороны.

Часть вторая: Взгляд в блестящее

IV

Настоятельница тишины Сайга поднялась из-за стола, когда пир достиг середины — если это можно было назвать пиром, где еды было в обрез, а питья — на донышке.

Она отставила миску, отодвинула кувшин, оперлась на посох и вышла на свободное пространство между столами. Её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — мутных, почти белых — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Я спляшу для вас снова, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на вызов. — Не для веселья — для скрепы. Не для живых — для тех, кто ушёл, но смотрит на нас из пыли.

Она начала танцевать.

Это был тот же странный, мрачный танец, что и вчера, — медленный, тяжёлый, похожий на движение времени, когда его никто не считает. Позвонок в её руке гудел — то выше, то ниже, то громче, то тише. Пыль поднималась из трещин в камне, кружилась вокруг неё, пела. Эйнар смотрел на этот танец, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Скука. Или усталость. Или то и другое вместе.

Он перевёл взгляд на стол, на кувшины, на миски, на полированное металлическое блюдо, которое лежало рядом с Гармом — огромное, плоское, с выгравированными узорами, изображавшими охоту на зверей, которых никто уже не помнил. Блюдо было старым — Эйнар видел это по потускневшей поверхности, по тёмным пятнам, которые не смывались, по царапинам, оставленным ножами.

Блюдо отражало свет — тусклый, голубоватый, пульсирующий. Но не так, как отражала бы вода или стекло. Оно искажало. Растягивало тени. Превращало лица в маски, а маски — в пустоту.

Эйнар смотрел на это блюдо, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Странное, тяжёлое, липкое, как смола.

V

Гарм поднялся с места.

Медленно, опираясь на костяную пясть, и позвонки скрежетали, издавая тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Воины замерли. Стражи замерли. Даже Сайга замерла на полудвижении, позвонок затих, пыль перестала петь.

— Пустой! — крикнул Гарм, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Встань! Подойди! Я хочу выпить за тебя!

Эйнар не двинулся. Сидел, сжимая в руке лук, и смотрел на Гарма. Дар внутри пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он знал, что сейчас должно случиться что-то важное. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Но что-то случится.

— Ты слышал меня, пустой? — спросил Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на холодную, расчётливую угрозу. — Я, вождь Детей Бурь, поднимаю кубок за тебя. За твоё пророчество. За твою смелость. За то, что ты спас мой лагерь от пепла. Неужели ты откажешься?

Воины зашептались. Стражи зашептались. Даже Рун повернул голову, чтобы смотреть на Эйнара. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не ненависть, не злобу, не страх. Любопытство. Он хотел знать, что сделает пустой.

Эйнар поднялся. Медленно, опираясь на здоровую руку, и левая рука — перевязанная, зажившая, но всё ещё слабая — дрожала. Не от страха — от напряжения, которое наконец находило выход.

— Я не отказываюсь, вождь, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я просто... удивлён. Ты не пил за меня вчера. Ты не пил за меня сегодня утром. А теперь — вдруг — решил выпить. Почему?

Гарм замер. Его единственный глаз расширился, зрачок сузился до точки. Он смотрел на Эйнара, и в этом взгляде — в этом светлом, почти бесцветном взгляде — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Растерянность. Он не ожидал вопроса. Он ожидал, что пустой подойдёт и покорно примет кубок. Он не ожидал сопротивления.

— Потому что сегодня я понял, — сказал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не уверенность, не спокойствие, а что-то другое, похожее на импровизацию. — Понял, что без тебя мы бы все погибли. Что ты — не враг. Что ты — ... что ты — наш.

Он говорил, и слова его были гладкими, как полированная сталь, но за ними, в глубине, в той самой пустоте, которая жила внутри Эйнара теперь, угадывалась ложь. Тяжёлая, липкая, как смола.

VI

Гарм взял со стола кубок. Не тот, из которого пил сам, — другой. Большой, серебряный, с выгравированными рунами, которые Эйнар не мог прочитать. Кубок был старым — почерневшим от времени, с тёмными пятнами на внутренней поверхности. Гарм поднёс его к кувшину, налил вина — тёмного, густого, почти чёрного, — и протянул Эйнару.

В этот момент, в это самое мгновение, когда кубок оказался в двух шагах от Эйнара, дар внутри него взорвался.

Не ударом — вспышкой. Эйнар увидел не будущее — настоящее. Но другое настоящее. То, которое происходило здесь, на пиру, но которое не видели глаза. То, которое видел только дар.

Он увидел себя, стоящего перед Гармом, подносящего кубок к губам. Он увидел, как вино — тёмное, густое, почти чёрное — течёт по горлу, как обжигает пищевод, как распространяется по телу — быстро, смертельно, неотвратимо. Он увидел, как его руки немеют, как ноги подкашиваются, как он падает на чёрный камень, и лицо его становится синим, а глаза

— пустыми. Он увидел, как Ирис бросается к нему, как она кричит его имя, как она плачет — впервые за всё время, впервые на его памяти. Он увидел, как Гарм смотрит на его тело и улыбается — той самой улыбкой, с которой он смотрел на пепельных волков, когда они убили его воинов.

И видение исчезло.

Эйнар стоял, сжимая в руке лук, и его трясло. Не от холода — от напряжения, которое наконец отпускало, оставляя после себя пустоту и слабость, такую, что подкашивались колени и темнело в глазах. Лицо его было мокрым от пота, несмотря на холод, и на лбу пульсировала жилка — тонкая, синяя, готовая лопнуть.

— Ты... ты не берёшь? — спросил Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не уверенность, не спокойствие, а что-то другое, похожее на нетерпение. — Я протягиваю тебе кубок, пустой. А ты стоишь и смотришь на меня, как на врага. Я не враг. Я — вождь, который хочет выпить за твоё здоровье.

Эйнар не ответил. Он смотрел на кубок, на вино, на руны, на тёмные пятна на внутренней поверхности. И в его голове, в той самой глубине, где жил дар, пульсировала одна мысль: «Отрава. В кубке отравы. Гарм хочет убить меня. Не ножом — ядом. Не в бою — за столом. Не открыто — тайно».

Он перевёл взгляд на полированное блюдо. Оно лежало на столе, отражая свет — тусклый, голубоватый, пульсирующий. В его поверхности, в этой тусклой, искажённой глади, он увидел то, чего не увидел бы в обычном зеркале. Не своё лицо — размытое пятно, почти невидимое. Но и не пустоту. Он увидел движение. Тень, которая скользнула по блюду, когда Гарм наливал вино. Не его тень — другую. Тень руки, которая что-то бросила в кубок. Маленькое, почти незаметное, похожее на крупинку пепла.

«Яд», — подумал Эйнар, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. «Гарм отравил вино. Гарм хочет, чтобы я умер сегодня. Гарм хочет, чтобы моя смерть выглядела как несчастный случай. Или как проклятие. Или как действие Распада».

Он поднял глаза на Гарма. Встретился с ним взглядом. И улыбнулся.

— Конечно, я возьму, вождь, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Просто... левая рука. Помнишь? Рана от ножа Стража. Она иногда немеет. Я боялся, что не удержу такой тяжёлый кубок.

Он протянул здоровую — правую — руку. Пальцы его дрожали, но не от страха — от того, что он собирался сделать. Он не мог отказаться. Если он откажется сейчас, на глазах у всех, Гарм обвинит его в неуважении. Воины встанут на сторону вождя. Мир, который они построили ценой свадьбы Руны и Брин, рухнет. Он должен взять кубок. Но он не должен пить.

Он взял кубок. Серебро было холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как будто никогда не касалось солнца, никогда не знало тепла живого тела. Вино в кубке пахло — сладковато, приторно, почти тошнотворно. Этот запах он уже чувствовал раньше. В колодце мёртвой деревни. У русла мёртвой реки. В пещере со слюдяной стеной. Запах распада.

Он поднёс кубок к губам.

Часть третья: «Случайная» оплошность

VII

Гарм смотрел на него, и в его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — горела не надежда. Жадность. Жадность до смерти Эйнара. До его падения. До его исчезновения.

— Пей, пустой, — сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Пей за наш союз. За наше будущее. За то, что мы выжили.

Эйнар замер. Кубок был в двух пальцах от его губ. Вино пахло — сладковато, приторно, почти тошнотворно. Дар внутри пульсировал — не видение, предупреждение. «Не пей. Не пей. Не пей».

Но он не мог не пить. Или мог. Он должен был найти способ. Способ не пить, но и не отказаться. Способ, который сохранит мир, но спасёт его жизнь.

Он посмотрел на полированное блюдо. Оно лежало на столе, отражая свет — тусклый, голубоватый, пульсирующий. В его поверхности, в этой тусклой, искажённой глади, он снова увидел движение. На этот раз — своё. Он увидел, как его правая рука — здоровая, сильная — слегка подрагивает. Как пальцы разжимаются. Как кубок наклоняется.

Он понял.

Он сделал вид, что левая рука — перевязанная, зажившая, но всё ещё слабая — свела судорога. Он дёрнулся — резко, неестественно, как человек, которого пронзила внезапная боль. Его пальцы разжались. Кубок выпал из рук, ударился о край стола, покатился и упал на чёрный камень.

Вино выплеснулось — тёмное, густое, почти чёрное — и с шипением впиталось в камень, в пыль, в память. Запах стал сильнее — сладковатый, приторный, почти тошнотворный. Он заполнил пространство, заставив воинов поморщиться, а Стражей — закашлять.

VIII

Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы.

Воины замерли. Стражи замерли. Даже Сайга, которая стояла с позвонком в руке, замерла на полуслове. Все смотрели на кубок, на вино, на Эйнара.

Гарм замер. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — расширился, зрачок сузился до точки. Он смотрел на разлитое вино, на тёмное, маслянистое пятно на камне, и в его взгляде — в этом светлом, почти бесцветном взгляде — было что-

то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Ужас. Ужас того, что его план раскрыт. Ужас того, что пустой знает. Ужас того, что сейчас, в этот самый момент, всё рухнет.

Эйнар стоял, сжимая в руке лук, и смотрел на Гарма. Его левая рука — перевязанная, зажившая, но всё ещё слабая — дрожала. Не от страха — от того, что он только что сделал. Он спас себя. Он спас мир, который они построили ценой чужой боли. Он не дал Гарму убить его.

— Прости, вождь, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Рука. Старая рана. Иногда она немеет. Я не удержал.

Он поднял левую руку, показал повязку, показал шрам, который всё ещё был виден из-под тряпицы. Воины зашептались — кто-то сочувственно, кто-то подозрительно, кто-то равнодушно. Стражи молчали. Они смотрели на вино, на тёмное, маслянистое пятно на камне, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Понимание. Они знали. Они чувствовали запах. Они знали, что это за вино.

Гарм сжал костяную пясть. Позвонки скрежетнули, издав тот самый сухой, тоскливый звук, от которого у Эйнара заныли зубы.

— Ничего, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал как приговор. — Бывает. Раненые воины не всегда могут удержать оружие. Или кубок. Неважно. Принесите другой.

Он махнул рукой одному из воинов, и тот побежал за новым кубком. Но Эйнар уже знал: второго раза не будет. Гарм не рискнёт отравить его снова. Не сегодня. Не на глазах у всех.

— Не надо, вождь, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я не хочу пить. Вино сегодня горькое. Я чувствую. Может, вчерашнее было лучше? Или завтрашнее будет слаще? Неважно. Я не пью. Извини.

Он развернулся и пошёл к своему месту, не оглядываясь.

IX

Ирис смотрела на него, когда он сел рядом. Её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Он отравил вино, — сказала она, и это был не вопрос — утверждение.

— Да, — ответил Эйнар, и голос его был тихим, почти шёпотом, чтобы никто не слышал. — Я видел. В блюде. В отражении. Не своём — пустоты. Я видел, как он сыпал яд в кубок. Маленькую крупинку. Похожую на пепел.

— А если бы ты не увидел? — спросила она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на ужас.

— Я бы выпил, — ответил он. — И умер. Или исчез. Или стал пылью. И пел бы вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

Ирис взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую — и сжала её. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Не пей больше никогда, — сказала она. — Ничего. Ни воды, ни вина, ни настойки. Ничего, что он предлагает. Если он поднесёт тебе кубок снова — откажись. Даже если это будет война. Даже если это будет смерть. Я лучше буду сражаться с целым кланом, чем смотреть, как ты умираешь у меня на руках от яда.

Она замолчала. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Часть четвёртая: Молчаливая сделка

X

Гарм не подошёл к Эйнару снова. Он сидел на своём месте, сжимая костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на огонь, на пыль, на пустоту. Он не пил. Не ел. Не говорил. Только смотрел. И ждал.

Воины его клана перешёптывались, бросали косые взгляды на Эйнара, на Гарма, на вино, которое всё ещё темнело на камне. Кто-то подошёл, присыпал пятно пеплом, чтобы запах исчез. Кто-то унёс кубок. Кто-то просто отвёл глаза.

Стражи сидели молча. Их лица — бледные, морщинистые, с глубокими складками вокруг глаз и ртов — были непроницаемы. Но в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Стыд. Они стыдились того, что их союзник — вождь Детей Бурь — пытался убить пустого. Или стыдились того, что не смогли защитить. Или того и другого вместе.

Рун и Брин сидели на своём камне, не касаясь друг друга. Их тени — длинная, чёрная, правильная, и короткая, бледная, почти невидимая — лежали на чёрном камне, пересекаясь в одной точке. Брин смотрела на Эйнара. Рун смотрел на Брин. И в его взгляде — светлом, почти бесцветном, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не ненависть, не злобу, не страх. Понимание. Он понял, что Гарм пытался убить пустого. И он понял, что это неправильно. Но он ничего не сказал. Потому что не мог. Потому что клятва.

XI

Когда пир кончился и гости разошлись, Эйнар остался сидеть у своего камня. Ирис — рядом, опираясь на посох. Её левая нога — та, что попала в капкан, — всё ещё болела, но она не жаловалась. Никогда не жаловалась.

К ним подошла Сайга.

Она шла медленно, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — мутных, почти белых — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Ты знал, — сказала она, и это был не вопрос — утверждение. — Ты знал, что в кубке отравы. Ты знал, что Гарм хочет убить тебя. Ты знал, и ты не сказал ни слова. Почему?

— Потому что если бы я сказал, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти, — началась бы война. Воины Гарма не поверили бы мне. Или поверили, но встали бы на сторону вождя. Стражи не вмешались бы. Рун и Брин разорвали бы клятву. И всё, что мы построили, рухнуло бы. Я не хочу этого. Я хочу идти к Мельнице. Я хочу найти ответ. Даже если для этого придётся молчать о покушении.

Сайга смотрела на него долго, изучающе. В её глазах — мутных, почти белых — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

— Ты сильнее, чем я думала, пустой, — сказала она. — Или глупее. Или то и другое вместе. Ты готов умереть молча, только чтобы не разрушить хрупкий мир. Ты готов простить Гарму попытку убийства. Ты готов смотреть ему в глаза и не отводить взгляд. Это... это дорогого стоит.

Она замолчала, потом добавила тише, почти шёпотом:

— Но будь осторожен, пустой. Гарм не прощает. Он запомнит сегодняшний день. Он запомнит, что ты выжил. Он запомнит, что ты — сильнее. И он сделает всё, чтобы уничтожить тебя. Не сегодня — завтра. Или через неделю. Или через месяц. Но он сделает. Потому что он — вождь. Потому что он привык, что его боятся. Потому что он не может править, если кто-то не боится его.

Она развернулась и пошла в лагерь, не оглядываясь. Её тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

XII

Поздно ночью, когда лагерь затих, а костры догорели, Эйнар сидел у своего камня и смотрел на обсидиановый осколок первозеркала — тот самый, который подобрал на поле битого стекла.

В его глубине больше не было точки. Только серая, маслянистая тьма. Такая же, как в Чёрном зеркале. Такая же, как в воде колодца мёртвой деревни. Такая же, как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло.

Он смотрел в эту тьму, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Голос Магнуса пришёл из трещин в камне — тихий, далёкий, почти неслышный, но каждое слово врезалось в память, как нож врезается в кожу.

— Ты выжил, пустой, — сказал Патриарх, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на вопрос. — Ты выжил, потому что увидел

свою смерть в отражении. Ты выжил, потому что твоя пустота показала тебе правду. Но ты не разоблачил Гарма. Почему?

— Потому что правда не всегда нужна, — ответил Эйнар, не открывая глаз. — Потому что иногда ложь сохраняет мир. Потому что если бы я сказал правду сегодня, завтра мы бы уже не говорили. Война. Смерть. Пыль. Я не хочу этого. Я хочу идти к Мельнице.

— Ты прав, — сказал Магнус, и в его голосе появились новые нотки — не уверенность, не надежда, а что-то другое, похожее на сожаление. — Правда не всегда нужна. Но ложь имеет свойство возвращаться. Сегодня ты промолчал. Завтра Гарм ударит снова. И тогда твоя ложь станет твоей смертью. Помни об этом, пустой. Помни, что каждый твой шаг — это чья-то боль. Каждое твоё молчание — это чья-то смерть.

Голос замолк. Эйнар открыл глаза. Небо было серым, пустым, без единого просвета. Камни пульсировали слабым, голубоватым светом, и в этом свете, в этой пульсации, было что-то, от чего ему захотелось закрыть глаза и никогда не открывать.

Но он не закрыл. Смотрел. Слушал. Ждал.

XIII

Ирис не спала. Она сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, глубоким — она не спала, просто отдыхала. Набиралась сил перед следующим днём.

— Ты не должен быть один, — сказала она, не открывая глаз. — Даже когда думаешь, что должен. Даже когда кажется, что никто не поймёт. Даже когда боль становится слишком сильной. Я здесь. Я рядом. Я не уйду.

— Я знаю, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную благодарность. — Я знаю, Ирис. Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Я не забуду. Я запомню. Даже когда всё остальное исчезнет.

Он сжал её руку — холодную, дрожащую, но живую — и закрыл глаза.

А в лагере, у костра, Гарм сидел один, сжимая костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на огонь, на пыль, на пустоту.

Он не спал. Он думал.

— Ты выжил, пустой, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал как проклятие. — Ты выжил сегодня. Но завтра... завтра я придумаю другой способ. Не кубок — копье. Не яд — сталь. Не тайно — открыто. Я не позволю тебе править моим кланом. Я не позволю тебе стать важнее меня. Я убью тебя, пустой. Или умру сам. Но я не отступлю.

Он поднялся, опираясь на костяную пясть, и пошёл в свой шатёр, волоча её по камню, оставляя на чёрной поверхности глубокие, чёрные царапины.

Часть пятая: Тишина перед бурей

XIV

Эйнар проснулся через час от того, что тишина стала другой.

Не пустой, не ожидающей, а той, которая бывает перед рассветом, когда даже ветер спит, а звери затаились в норах, пережидая темноту. Он открыл глаза и увидел, что небо на востоке начало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжёлый день.

Он смотрел на это небо и не чувствовал страха. Только усталость. И надежду. И память о том, что они прошли через прах и пустоту, через осколки и чёрную воду, и не исчезли.

Ирис спала, её лицо было спокойным, почти беззащитным. Эйнар не стал будить её. Он поднялся, отряхнул колени, и пошёл к краю лагеря, туда, где стояли чёрные камни круга.

Магнус ждал его. Не внутри круга — снаружи, прислонившись к холодной, гладкой стене, и его зашитые веки — серебряная нить, грубые стежки, пульсирующий свет — были обращены к востоку, туда, где небо начинало светлеть.

— Ты пришёл, пустой, — сказал Магнус, и его губы не шевелились. Голос шёл не из горла — из пустоты. — Ты пришёл, потому что не можешь иначе. Потому что вчерашнее покушение не остановило тебя. Потому что ты готов умереть, но идти дальше.

— Я готов, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я не умру. Не сегодня. Не завтра. Не от яда Гарма. Я умру, когда дойду до Мельницы. Или не умру — исчезну. Или не исчезну — стану пылью. Но не раньше.

Магнус молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять.

— Гарм ударит снова, — сказал Патриарх, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на предупреждение. — Не тайно — открыто. Он обвинит тебя в колдовстве. Он потребует изгнания. Он сделает всё, чтобы настроить против тебя всех — и своих, и моих. Будь готов, пустой. Завтра начнётся не битва — суд. А суд в Пустоте — это смерть. Или исчезновение. Или то и другое вместе.

— Я готов, — повторил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

Магнус кивнул — медленно, тяжело, как кивают, когда слышат то, что знали, но надеялись не услышать.

— Тогда иди, — сказал он. — И готовься. Завтра ты будешь не пророком — обвиняемым. А обвиняемые в Пустоте не живут долго. Или живут, но не помнят, кто они. Или помнят, но не хотят вспоминать. Неважно. Завтра всё решится.

Эйнар кивнул — коротко, резко, как отдают честь, — и пошёл обратно в лагерь, к Ирис, к своим спутникам, к тем, кто ждал его.

XV

Он не знал, что завтра Гарм пойдёт ва-банк. Не знал, что его публичное обвинение в колдовстве заставит даже союзников усомниться. Не знал, что Ирис посоветует ему уступить, а он откажется. Не знал, что выйдет к толпе один, без оружия, без защиты, без страха.

Он знал только одно: сегодня он пережил покушение. Сегодня он спас себя и мир, который строил. Сегодня он стал не просто пустым — он стал тем, кто видит смерть в отражениях и отворачивается.

И это знание было тяжелее любого клинка.

Но он нёс его. Как нёс свою пустоту. Как нёс память о тех, кто рассыпался. Как нёс надежду, которая, может быть, когда-нибудь станет настоящей.

А в лагере, у чёрного камня, Рун и Брин сидели спиной к спине. Они не спали. Они ждали рассвета. И в их ожидании, в их молчании, в их общей тени, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Не любовь — принятие.

Не прощение — смирение.

Не надежда — готовность.

Они были готовы. К смерти. К исчезновению. К пустоте.

Потому что у них не было выбора.

Как у него.

Как у всех.

Ирис подошла к нему, взяла за руку. Они стояли на краю лагеря, глядя на восток, где небо светлело — бледной, болезненной желтизной, которая обещала тяжёлый день.

— Завтра мы идём к Мельнице, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость.

— Завтра, — ответил он.

— Ты боишься?

— Да, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я иду.

— Я с тобой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на клятву. — До конца. Что бы ни случилось.

Она сжала его руку — холодную, дрожащую, но живую, — и они стояли так до рассвета, слушая, как пыль поёт — тихо, далёко, почти не слышно.

А вдали, на юго-востоке, в серой, маслянистой дымке, чернели очертания Мельницы. Она ждала. Она всегда ждала.

Но она знала: они придут.

Не завтра — послезавтра.

Или через неделю.

Или через год.

Но придут.

Потому что пустой не остановится.

Потому что его тень стала короче, но его воля — длиннее.

Потому что он нёс на себе не только свою судьбу — судьбы тех, кто поверил ему.

И это бремя было тяжелее любого яда.

Но он нёс его.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 46

ГЛАВА 47. В ЗАПАДНЕ

Часть первая: Утро после яда

I

Эйнар проснулся от того, что тишина стала другой.

Не той, вязкой и липкой, как застывшая смола, которая давила на него последние дни. И не той, пустой и ожидающей, которая предшествовала «звнящему часу». Новая. Острая. Словно кто-то невидимый натянул тетиву огромного лука и замер, целясь прямо в его сердце. Тишина, в которой каждый звук — шорох пепла под чьей-то ногой, скрип позвонков в остывающем костре, редкий, отрывистый кашель старейшины — казался неестественно громким, почти болезненным.

Он лежал на спине, глядя в серое, пустое небо Плато, и чувствовал, как чёрный, гладкий камень под спиной отдаёт холод, которого не было в воздухе. После вчерашнего покушения

— если этим тихим, почти незаметным актом можно было назвать покушение — лагерь Детей Бурь и Стражей затих. Не успокоился — затаился. Как зверь перед прыжком. Как нож перед ударом. Как ложь перед тем, как стать правдой.

Он пошевелил пальцами левой руки — они гнулись легко, почти безболезненно. Шрам, который оставил нож Стража, стал тонким, серебристым, похожим на тот, что украшал левую щёку Ирис. Два шрама — две памяти, две встречи со смертью, которая не взяла их, потому что они были нужны друг другу. Или потому, что смерть в Пустоте слишком занята, чтобы забирать всех подряд. Или потому, что пустота внутри него отпугивала даже смерть.

Он сел, опираясь на здоровую руку. Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё было на месте. Он проверил каждую вещь, как делал каждое утро, — механически, почти не думая. Привычка, которая держала его в этом мире, не давала провалиться в пустоту, где нет ни времени, ни боли, ни надежды.

Ирис не спала. Она сидела в трёх шагах, прислонившись спиной к чёрному камню, и смотрела на восток, туда, где небо начинало светлеть бледной, болезненной желтизной. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в его глубине, под тонкой, потрескавшейся кожей, пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Под глазами залегли глубокие тени — она не спала всю ночь. Или спала, но сны не давали ей покоя. На левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам.

— Ты не спал, — сказала она, не оборачиваясь. Голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось напряжение — то самое, которое бывает у зверя, когда он чувствует опасность, но не знает, откуда она придёт.

— Не спал, — ответил он, поднимаясь и отряхивая колени. Пыль — серая, маслянистая, поющая — поднялась в воздух тонкими струйками, закружилась, запела тихо, почти неслышно. — Думал.

— О чём?

— О том, что Гарм не успокоится. Вчера он пытался убить меня тайно. Сегодня... сегодня он сделает это открыто. Я чувствую. Дар не показывает — тело знает. Кости знают. Та пустота, что внутри меня, — она сжимается, как перед броском.

Ирис повернулась к нему. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Согласие. Она знала. Она тоже чувствовала.

— Вчера ночью, когда ты спал, — сказала она, и голос её стал тише, почти шёпотом, — Гарм собрал своих старых воинов. Не всех — только тех, кто помнит его молодым. Тех, кто убивал вместе с ним. Тех, кто обязан ему жизнью. Он говорил с ними долго. Я не слышала слов — только голос. Тон. Он не просил — он требовал. Не уговаривал — приказывал.

— Что он им сказал?

— Не знаю. Но когда они вышли из его шатра, их лица были бледными. Даже у тех, кто не бледнел никогда. Даже у Хьялмара. Даже у Руна. Они смотрели на меня, и в их глазах было... не ненависть. Сомнение. Гарм заставил их сомневаться в тебе. Он не говорил, что ты враг — он говорил, что ты колдун. Что ты привёл сюда пепельных волков. Что ты привёл Стражей. Что ты хочешь не спасти — подчинить. Заменить его власть своей.

Эйнар молчал. Смотрел на восток, на бледную, болезненную желтизну, которая разливалась по горизонту, как чернила по мокрой бумаге, как масло по воде, как кровь по снегу. Внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

— Он не ошибается, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности, в этом спокойствии, была горечь. — Я действительно хочу заменить его власть. Не свою — другую. Власть правды. Власть памяти. Власть тех, кто смотрит в пустоту и не отводит глаз. Он чувствует это. И боится. А страх делает его опаснее.

— Не опаснее, чем ты, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Он боится потерять клан. Ты боишься потерять себя. Разница есть. И она в твою пользу.

II

Брин подошла к ним, когда свет из трещин в камне стал чуть ярче — наступило утро Плато, если это можно было назвать утром.

Она шла медленно, опираясь на обломок копья, и её доспех трещал при каждом шаге. Чёрный, маслянистый, покрытый трещинами, он пульсировал слабым, голубоватым светом, но не так, как вчера. Тише. Усталее. Как будто сама мысль о том, что сегодня может случиться что-то страшное, высосала из него последние силы. Из трещин сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая, но не та, громкая песня, которую Эйнар слышал в «звонящий час», — другая. Тихая, почти неслышная, похожая на шёпот, на вздох, на прощание.

Рядом с ней, в двух шагах, шёл Рун. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Топор висел на поясе, и его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимали древко так, что костяшки побелели. Он не смотрел на Брин. Смотрел на Эйнара. И в его взгляде — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — не было ненависти. Был вопрос. «Почему ты? Почему она смотрит на тебя, а не на меня? Почему ты стал важнее, чем вождь? Почему ты не умер вчера?»

Брин остановилась в трёх шагах от Эйнара, перевела дыхание. Её грудь — под треснувшим, пульсирующим доспехом — вздымалась тяжело, с присвистом. Пыль из трещин сочилась быстрее, когда она дышала, и Эйнару показалось, что он слышит не только её дыхание — он слышит, как её тело рассыпается. Медленно, неотвратно, как рассыпаются кости под тяжестью времени.

— Гарм зовёт на Совет, — сказала она, и голос её был слабым, едва слышным, как шёпот пыли. — Не на пир — на суд. Сегодня утром. У большого камня. Там, где вчера стояли столы. Он сказал, что будет говорить о тебе. О твоём даре. О твоей пустоте. О том, что ты — угроза для всех. И для Детей Бурь, и для Стражей. Он требует, чтобы ты предстал перед всеми.

— Требуется? — переспросил Эйнар, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

— Требуется, — повторила Брин, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — мелькнуло что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Предупреждение. — Он уже собрал своих воинов. И многих из Стражей. Магнус не мешает — он сказал, что это не его дело. Что кланы должны решать сами. Что он будет только смотреть.

— Смотреть? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на холодную, расчётливую ярость. — Он будет смотреть, как Гарм убивает пустого? Он будет смотреть, как рушится всё, что мы построили? Он будет смотреть, как его собственные Стражи переходят на сторону вождя, потому что он не сказал им ни слова?

— Он слеп, — ответила Брин, и в её голосе появились новые нотки — не горечь, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную констатацию факта. — Но он видит больше, чем зрячие. Он видит, что если он вмешается сейчас — начнётся война. Не суд — резня. Не слова — кровь. Он не хочет крови. Он хочет, чтобы вы решили сами. Или не решили — но хотя бы попробовали. Я не знаю. Я не пророк. Я только Хранительница, которая слишком долго ждала и наконец дождалась своего конца.

Она замолчала, развернулась и пошла обратно в лагерь, не дожидаясь ответа. Рун — за ней, молча, как тень, как цепь, как приговор. Их тени — длинная, чёрная, правильная, и короткая, бледная, почти невидимая — лежали на чёрном камне, пересекаясь в одной точке. И в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

III

Ирис подошла к нему, взяла за руку. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — были холодными, но не обжигающими — просто холодными, как лёд, как вода, как пустота. Он не отстранился. Стоял, смотрел на восток, на бледную, болезненную желтизну, и чувствовал, как дар внутри пульсирует — ровно, спокойно, в такт его сердцу. Не видение — уверенность. Он знал, что должен сделать. Знал с того самого мгновения, как открыл глаза.

— Ты пойдёшь? — спросила Ирис. Это был не вопрос — утверждение.

— Пойду, — ответил он. — Не потому, что Гарм требует. Потому, что если я не пойду — они решат, что я трусил. Что я боюсь правды. Что я — не пророк, а трус. А трусов в Пустоте не слушают. Трусов убивают. Или изгоняют. Или забывают.

— Тогда я пойду с тобой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость.

— Нет, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ты останешься здесь. Если меня убьют — ты должна идти дальше. К Стене. К Буре. К Двери. К Мельнице. К ответу. Ты должна рассказать им, что случилось. Ты должна закончить то, что мы начали.

— Я не пойду без тебя, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на отчаяние. — Я — твоя тень. Пока я рядом — ты есть. Если я уйду — ты исчезнешь. Или не исчезнешь — станешь пылью. Или станешь пылью, но не будешь петь. Я не хочу, чтобы ты стал пылью. Я хочу, чтобы ты жил. Или хотя бы умер, зная, что я была рядом.

Она замолчала. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

— Хорошо, — сказал он наконец, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал как сдача. — Идём вместе. Но если начнётся бой — ты уйдёшь. Не будешь защищать меня. Не будешь умирать за меня. Просто — уйдёшь. Обещай.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Протест. Она не хотела обещать. Она хотела сражаться. Умирать. Защищать. Но она знала: если она не пообещает сейчас — он не возьмёт её с собой.

— Обещаю, — сказала она, и слово это прозвучало странно, чужеродно в этом месте, где обещания были цепями, а цепи — смертью. — Но если ты умрёшь — я нарушу обещание. Я приду за тобой. Даже в пустоту. Даже в Мельницу. Даже к Наблюдателю. Я приду.

Она сжала его руку — холодную, дрожащую, но живую, — и они пошли к лагерю, к большому камню, к суду, к смерти или оправданию.

Часть вторая: Среди двух кланов

IV

Когда они подошли к большому камню, лагерь уже был на ногах.

Это был не тот камень, на котором пировали вчера, — другой. Большой, плоский, чёрный, отполированный до тусклого, маслянистого блеска тысячами ног, которые ступали по нему много лет. Или много веков. Или вечность. Камень лежал в центре естественного амфитеатра, образованного чёрными, гладкими скалами, которые уходили вверх, в серое, пустое небо, и вниз, в такую же серую, пустую землю. На этом камне не было ни пыли, ни пепла, ни памяти. Только пустота. И ожидание.

Воины Детей Бурь стояли слева от камня — в серых шкурах, с топорами и копьями, с лицами, которые были бледными, почти белыми в тусклом, голубоватом свете. Их было много — два десятка, не меньше. Все — отборные, проверенные в боях, те, кто не боялся ни медведя, ни человека, ни даже пустоты. Но сегодня в их глазах был страх. Тот самый, который они не могли показать, но который выдавали дрожащие пальцы и слишком частое дыхание. Они боялись не Эйнара. Они боялись того, что он скажет. Боялись, что правда, которую он принёс, окажется страшнее любой лжи.

Стражи стояли справа — в чёрных, потрескавшихся доспехах с белыми нашивками, опираясь на копья. Их было меньше — десяток, не больше. Их лица — бледные, морщинистые, с

глубокими складками вокруг глаз и ртов — были непроницаемы. Но в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Стыд. Они стыдились того, что их союзник — вождь Детей Бурь — собирался судить пустого. Или стыдились того, что не могли защитить его. Или того и другого вместе.

Между ними, на самом большом камне, сидел Гарм.

Он был не в шкуре — в доспехе. Чёрном, маслянистом, из обсидиановых пластин, скреплённых той же чёрной, маслянистой смолой, что держала кости лагеря. Доспех был старым — Эйнар видел это по потрескавшимся краям, по потускневшей поверхности, по следам от ударов, которые не смогли смыть ни время, ни пыль. Но он всё ещё держался. Как сам Гарм. Как его власть. Как его страх.

Рядом с ним, на меньших камнях, сидели старейшины — семеро стариков и старух с морщинистыми лицами, с седыми, свалывшимися бородами, с глазами, которые смотрели на огонь (хотя огня не было) и не видели ничего. Или видели слишком много. Или видели то, что не хотели видеть.

Сайга сидела в стороне, на самом краю амфитеатра, прислонившись спиной к чёрной скале. Её лицо было спокойным, почти счастливым, и в этом спокойствии, в этом счастье, было что-то, от чего Эйнару стало не по себе. Она не смотрела на Гарма — смотрела на небо, серое, пустое, без единого просвета, и в её мутных, почти белых глазах отражалась пустота. На шее висел осколок первозеркала — тот самый, который она дала Ирис крошку, — и он пульсировал в такт её дыханию, в такт её сердцу, в такт песне пыли, которая всё ещё звучала где-то на границе слышимости, тихая, далёкая, но живая.

V

Рун и Брин стояли у подножия большого камня, не касаясь друг друга. Их тени — длинная, чёрная, правильная, и короткая, бледная, почти невидимая — лежали на чёрном камне, пересекаясь в одной точке. Рун смотрел на Гарма. Брин смотрела на Эйнара. И в её взгляде — светлом, почти бесцветном, с точечными зрачками — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Поддержку.

Она не могла говорить — не имела права. Но она смотрела. И этого было достаточно.

Хьялмар стоял в первом ряду воинов, опираясь на боевой посох. Его лицо было бледным, измождённым, с глубокими царапинами на щеке — след от копья Стража, которое прошло в волосе от смерти. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была тревога. Та самая, которую он не мог показать воинам, но мог позволить себе здесь, в тишине, перед судом. Он смотрел на Эйнара, и в его взгляде было что-то, похожее на поддержку. Или на сочувствие. Или на то и другое вместе.

Он не подошёл к Эйнару — не мог. Гарм смотрел. Гарм ждал. Гарм считал. Каждое движение, каждый взгляд, каждое слово — всё было на счету.

Эйнар шагнул вперёд, в пустое пространство между воинами и Стражами. Остановился в двадцати шагах от Гарма. Ирис осталась на границе амфитеатра — не вошла в круг, но и не ушла. Она была рядом. Как обещала.

— Ты пришёл, пустой, — сказал Гарм, и голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась ярость — глухая, тяжёлая, как удар топора. — Я думал, ты бежишь. Или спрячешься. Или попросишь своих Стражей защитить тебя. Но ты пришёл. Один. Без оружия. Без защиты. Без страха. Это... смело. Или глупо. Или то и другое вместе. Неважно. Ты здесь. И это главное.

— Я здесь, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не потому, что ты приказал. Потому, что я должен быть здесь. Потому, что если я не приду — вы не услышите правду. А правда — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

Гарм усмехнулся — криво, беззубо, и в этой усмешке, в этой кривой, беззубой улыбке, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Не угроза — насмешка.

— Правда? — переспросил Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на холодную, расчётливую издевку. — Ты говоришь о правде, пустой? Ты, чьё отражение исчезло? Ты, чья тень стала короткой, как обрубок пальца? Ты, кто привёл сюда пепельных волков? Ты, кто привёл Стражей? Ты, кто хотел, чтобы лавина уничтожила мой лагерь? Ты говоришь о правде?

Воины зашептались. Стражи зашептались. Даже старейшины зашевелились на своих камнях, застучали посохами о чёрный камень — глухо, тяжело, в такт их сердцам. Слова Гарма падали в толпу, как камни в воду, как пепел на снег, как память в забвение. И каждое слово оставляло след.

VI

Эйнар стоял неподвижно, сжимая пустые руки, и смотрел на Гарма. Внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он знал, что сейчас должно случиться что-то важное. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Но он должен был говорить.

— Ты обвиняешь меня в том, чего я не делал, вождь, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности, в этом спокойствии, была сила, которой Гарм не ожидал. — Ты говоришь, что я привёл пепельных волков. Но волки пришли, потому что Распад чувствует ключ. А ключ — это я. Не потому, что я хочу зла — потому, что так устроен мир. Ты говоришь, что я привёл Стражей. Но Стражи пришли, потому что Магнус хотел заключить союз. А союз — это не моя вина, это моя заслуга. Ты говоришь, что я хотел, чтобы лавина уничтожила твой лагерь. Но лавина уничтожила бы его, если бы я не предсказал её. Если бы я не помог укрепить частокол. Если бы я не стоял рядом с твоими воинами и не сбивал пепел, рискуя своей жизнью.

Он замолчал, давая словам осесть. Воины замерли. Стражи замерли. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

— Ты обвиняешь меня в том, что я спас твой лагерь, — продолжал Эйнар, и голос его стал твёрже, как у человека, который уже всё решил и не собирается отступать. — Ты обвиняешь меня в том, что я помог твоим воинам выжить. Ты обвиняешь меня в том, что я — не враг, а союзник. Ты обвиняешь меня в том, что я — пустой. А пустые не лгут. Пустые не предают. Пустые не убивают из-за угла. Пустые смотрят в глаза и говорят правду. Даже когда правда может убить.

Гарм замер. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — расширился, зрачок сузился до точки. Он смотрел на Эйнара, и в этом взгляде — в этом светлом, почти бесцветном взгляде — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Растерянность. Он не ожидал, что пустой будет защищаться. Он ожидал, что пустой будет оправдываться, просить пощады, плакать, кричать, бежать. Он не ожидал, что пустой будет нападать.

— Ты смеешь, — прошептал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на удивление. — Ты смеешь обвинять меня, пустой? Ты, кто пришёл в мой лагерь чужим? Ты, кто перевернул жизнь моего клана? Ты, кто стал важнее меня? Ты смеешь говорить мне, что я не прав?

— Я не обвиняю, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я говорю правду. А правда — это не обвинение. Это факт. Ты боишься, вождь. Не меня — того, что я представляю. Свободу. Правду. Память. Ты боишься, что твои воины перестанут бояться тебя. Что они увидят в тебе не вождя — человека. Со страхами. С ошибками. Со смертью, которая не обойдёт его стороной. Ты боишься, что они увидят твою тень — и увидят, что она становится короче. Как моя. Как у всех. Как у тех, кто уже рассыпался.

Часть третья: Добровольный выход

VII

Гарм поднялся с камня.

Медленно, опираясь на костяную пясть, и позвонки скрежетали, издавая тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Воины замерли. Стражи замерли. Даже Сайга, которая сидела на краю амфитеатра, перестала дышать.

— Ты прав, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я боюсь. Не тебя — того, что ты принёс. Сомнение. Страх. Надежду. Надежду, которой не должно быть в Пустоте. Потому что надежда убивает. Она заставляет верить. А вера — это цепь. А цепи не пускают к истине.

Он замолчал, перевёл дыхание. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — обводил собравшихся, останавливаясь на каждом лице, оценивая, взвешивая, запоминая.

— Я требую изгнания! — крикнул Гарм, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Пусть пустой уйдёт с Плато. Пусть идёт к своей Мельнице. Пусть идёт к своей смерти. Пусть идёт туда, откуда не возвращаются. Если он останется — он разрушит наш союз. Он посеет сомнение в сердцах воинов. Он заставит Стражей предать своих Патриархов. Он убьёт нас всех. Не мечом — словом. Не ядом — правдой.

Воины зашептались. Стражи зашептались. Кто-то закричал: «Изгнать!» Кто-то: «Оставить!» Кто-то молчал, опустив глаза. Клан раскололся. И в этом расколе, в этой трещине, в этой пустоте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

— Я не уйду, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не потому, что я гордый. Не потому, что я сильный. Потому, что если я уйду сейчас — вы никогда не узнаете правду. Вы никогда не узнаете, кто разбил первое зеркало. Вы никогда не узнаете, почему мир умирает. Вы никогда не узнаете, можно ли это остановить. Вы останетесь здесь, на Плато, в пустоте, и будете ждать. Ждать смерти. Ждать исчезновения. Ждать, когда пыль запоёт громче. Я не хочу ждать. Я хочу идти. И я пойду. С вами или без вас. Но я пойду.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы.

VIII

Ирис шагнула вперёд.

Она вышла из тени амфитеатра, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Я иду с ним, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии была сила, которой Гарм не ожидал. — Если вы изгоните его — изгоните меня. Если вы убьёте его — убейте меня. Мы — одна тень. Одно отражение. Одна память. Без него я — ничто. Без меня он — пустота. Не разделяйте нас. Не пытайтесь. Не получится.

Воины замерли. Стражи замерли. Даже Гарм замер на секунду, на две, на три. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на Ирис, и в этом взгляде — в этом светлом, почти бесцветном взгляде — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Зависть. Он завидовал их связи, их преданности, их готовности умереть друг за друга. Он никогда не имел этого. Никто в Пустоте не имел этого. Потому что в Пустоте нет любви. Есть только выживание. Только страх. Только память, которая умирает быстрее, чем тела.

— Ты смелая, женщина, — сказал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на неохотное уважение. — Или глупая. Или то и другое вместе. Ты готова умереть за пустого? Ты готова исчезнуть вместе с ним? Ты готова стать пылью, которая поёт, потому что не может молчать?

— Да, — ответила Ирис, и голос её был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Потому что он — не пустой. Он — моё отражение. Пока он рядом — я есть.

Пока он жив — я не исчезну. Если он умрёт — я умру с ним. Не от страха — от любви. Или не от любви — от необходимости. Неважно. Я умру. Или исчезну. Или стану пылью. И буду петь вместе с ним. Вечно. Без надежды на возвращение.

Она замолчала. Эйнар смотрел на неё, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Любовь. Та самая, о которой не говорят вслух, потому что слова слишком слабы. Та самая, которая не нуждается в отражениях. Та самая, которая остаётся, даже когда всё остальное исчезает.

IX

Брин сделала шаг.

Не к Эйнару — к Руну. Она подошла к нему, встала рядом, и её доспех трещал при каждом движении, из трещин сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая. Она не говорила — смотрела. Смотрела в его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — и в этом взгляде, в этой светлой, почти бесцветной глубине, было что-то, чего Рун не видел раньше. Не ненависть, не страх, не надежду. Просьбу.

«Не дай им убить его, — говорили её глаза. — Не дай им изгнать его. Не дай им разрушить то, что мы построили. Ты — воин. Ты — муж. Ты — клятва. Защити его. Защити меня. Защити нас».

Рун смотрел на неё долго, изучающе. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не ненависть, не злобу, не страх. Сомнение. Он сомневался в Гарме впервые за много лет. И это было страшнее любой угрозы.

— Я не могу, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я — воин. Я — не вождь. Я не могу идти против приказа. Я не могу предать клан. Я не могу...

— Ты можешь, — сказала Брин, и её голос был слабым, едва слышным, как шёпот пыли, но в нём, в этой слабости, чувствовалось что-то, чего Рун не слышал раньше. Не мольба — уверенность. — Ты можешь, потому что ты — не раб. Потому что ты — человек. Потому что ты — мой муж. Не по любви — по клятве. Но клятва — это не только приказ. Клятва — это память. Помни, Рун. Помни, кем ты был до того, как стал его тенью. Помни, кем ты станешь, если он победит.

Она замолчала. Рун молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Часть четвёртая: Колеблющиеся

X

Один из старых воинов — тот, который сидел у входа в лазарет в ночь после битвы с пепельными волками, тот, чью жену спасла Ирис, — шагнул вперёд.

Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Была решимость.

— Я не верю ему, — сказал он, и голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась усталость — глухая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражается и не знает, когда это кончится. — Я не верю Гарму. Он говорит, что пустой — колдун. Но пустой спас моего сына. Пустой спас мою жену. Пустой стоял рядом со мной на частоколе и сбивал пепел, когда Гарм прятался в тронном черепе. Я не знаю, кто из них колдун. Но я знаю, кто из них трус.

Воины зашептались. Кто-то закричал: «Предатель!» Кто-то: «Слушайте!» Кто-то молчал, опустив глаза. Клан раскололся. И в этом расколе, в этой трещине, в этой пустоте, было что-то, от чего Гарм побледнел.

— Ты, — прошипел Гарм, и голос его был тихим, почти спокойным, но в этом спокойствии было что-то страшное. То спокойствие, которое бывает перед смертельным ударом, когда человек уже выбрал жертву и не сомневается в своём выборе. — Ты, которого я кормил, когда ты был голоден? Ты, которого я защищал, когда ты был слаб? Ты, которому я дал имя? Ты смеешь называть меня трусом?

— Смею, — ответил воин, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Потому что правда дороже имени. Потому что память дороже страха. Потому что пустой показал мне, что значит быть человеком, а не псом на цепи. Я не пёс, Гарм. Я — воин. И я выбираю правду.

Он шагнул к Эйнару, встал рядом. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

XI

Второй воин шагнул следом. Потом третий. Потом пятый. Они выходили из строя, оставляли своих товарищей, переходили на сторону пустого. Не все — только те, кто видел его на частоколе. Только те, чьих детей спасла Ирис. Только те, кто помнил.

Крики становились громче. «Предатели!» — кричали одни. «Герои!» — кричали другие. «Изгнать!» — «Оставить!» — «Убить!» — «Спаси!»

Гарм стоял на своём камне, сжимая костяную пясть, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — метался по лицам, по воинам, по Стражам, по тем, кто предал его, по тем, кто остался верен. Он не верил. Не мог поверить. Его власть, которую он строил тридцать лет, рушилась на глазах. Не от меча — от слова. Не от яда — от правды.

— Молчать! — крикнул Гарм, и голос его прорвал гул, как меч прорывает кожу. — Молчать, трусы! Я — ваш вождь! Я — тот, кто дал вам имена! Я — тот, кто кормил вас, когда вы были голодны! Я — тот, кто защищал вас, когда вы были слабы! Вы не смеете предавать меня! Вы не смеете...

— Мы смеем, — сказал Хьялмар, и его голос был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась усталость — глухая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражается и наконец решил остановиться. — Мы смеем, потому что ты предал нас первым. Ты пытался убить пустого ядом. Ты хотел, чтобы он умер, как собака, в луже вина. Ты не сказал нам. Ты не спросил. Ты просто... сделал. Как будто мы — не люди. Как будто мы — оружие. Как будто мы — пыль. Я не пыль, Гарм. Я — воин. И я выбираю правду.

Он шагнул к Эйнару, встал рядом. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

XII

Но не все перешли.

Большинство воинов остались на месте. Они смотрели на Гарма, на Эйнара, на Хьялмара, на тех, кто ушёл, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не ненависть, не уважение. Сомнение. Они не знали, кому верить. Вождю, который правил тридцать лет, или чужаку, который пришёл с запада и перевернул их жизнь? Правде, которая убивает, или лжи, которая спасает?

Гарм смотрел на них, и в его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — горела не ярость. Паника. Он видел, как его власть рушится, как его воины переходят на сторону врага, как его клан раскалывается на две части. И он не знал, что делать. Он не знал, как остановить это. Он не знал, как вернуть тех, кто ушёл.

— Ты, — сказал он, глядя на Эйнара, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты разбил мой клан. Ты украл моих воинов. Ты убил мою власть. Я ненавижу тебя, пустой. Я ненавижу тебя сильнее, чем Распад. Сильнее, чем пустоту. Сильнее, чем смерть. Если я умру — я умру с мыслью о тебе. Если я исчезну — я исчезну, проклиная твоё имя. Если я стану пылью — я буду петь о твоей гибели. Вечно. Без надежды на возвращение.

— Ты не умрёшь, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ты будешь жить. Ты будешь править. Ты будешь вождём. Но ты будешь помнить. Ты будешь помнить этот день. Ты будешь помнить, как твои воины переходили на сторону пустого. Ты будешь помнить, как правда оказалась сильнее лжи. Ты будешь помнить, и это будет твоим наказанием. Не смерть — память. Не исчезновение — знание. Не пыль — песня, которую ты не можешь заглушить.

Он замолчал. Гарм молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Часть пятая: Ничья, которая станет битвой

XIII

Магнус не пришёл на суд.

Эйнар знал это с самого начала — чувствовал. Патриарх сидел в своём круге, за чёрными камнями, и его зашитые веки — серебряная нить, грубые стежки, пульсирующий свет — были обращены к востоку, туда, где небо начинало светлеть. Он не вмешивался. Он дал Гарму свободу — и Гарм проиграл. Не потому, что был слаб. Потому, что правда была не на его стороне.

Воины, которые остались верны Гарму, стояли молча. Их лица были бледными, почти белыми, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не ненависть, не уважение. Пустота. Они не знали, что делать. Они не знали, кому верить. Они не знали, как жить дальше.

Гарм спустился с камня. Медленно, опираясь на костяную пясть, и позвонки скрежетали, издавая тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Он подошёл к Эйнару, остановился в двух шагах. Теперь их разделяла только пустота. Та самая, которая жила внутри обоих.

— Ты победил сегодня, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как сдача. — Но война не кончена. Я не сдаюсь. Я не умираю. Я не исчезаю. Я буду ждать. Я буду следить. Я буду считать. И когда ты ошибёшься — я ударю. Не тайно — открыто. Не ядом — сталью. Не словом — делом. Помни это, пустой. Помни, что у тебя есть враг. И этот враг — я.

Он развернулся и пошёл прочь, не оглядываясь. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

XIV

Сайга подошла к Эйнару, когда толпа начала расходиться.

Она шла медленно, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — мутных, почти белых — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Ты выжил, пустой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на облегчение. — Ты выжил там, где другие умирали. Ты выстоял там, где другие падали. Ты не сломался. Это хорошо. Или плохо. Не знаю. Но ты выжил. А значит — у тебя есть шанс.

— Шанс на что? — спросил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности, в этом спокойствии, была усталость.

— На всё, — ответила Сайга, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на надежду. — На жизнь. На смерть. На ответ. Неважно. Главное — ты жив. А живые могут идти. Или стоять. Или падать. Но они могут выбирать. Мёртвые не выбирают. Они только поют. Или молчат. Или ждут. Ты не мёртв, пустой. Ты жив. Иди. И не оглядывайся. Там, позади, только пепел. Впереди — пустота. Но в этой пустоте, может быть, есть ответ.

Она замолчала, развернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Её тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

XV

Поздно ночью, когда лагерь затих, а костры догорели, Эйнар сидел у своего камня и смотрел на обсидиановый осколок первозеркала — тот самый, который подобрал на поле битого стекла.

В его глубине больше не было точки. Только серая, маслянистая тьма. Такая же, как в Чёрном зеркале. Такая же, как в воде колодца мёртвой деревни. Такая же, как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло.

Он смотрел в эту тьму, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Ирис не спала. Она сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, глубоким — она не спала, просто отдыхала. Набиралась сил перед следующим днём. Или перед смертью. Или перед исчезновением. Или перед тем, что между.

— Ты не должен быть один, — сказала она, не открывая глаз. — Даже когда думаешь, что должен. Даже когда кажется, что никто не поймёт. Даже когда боль становится слишком сильной. Я здесь. Я рядом. Я не уйду.

— Я знаю, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную благодарность. — Я знаю, Ирис. Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Я не забуду. Я запомню. Даже когда всё остальное исчезнет.

Он сжал её руку — холодную, дрожащую, но живую — и закрыл глаза.

А в лагере, у чёрного камня, Рун и Брин сидели спиной к спине. Они не спали. Они ждали рассвета. И в их ожидании, в их молчании, в их общей тени, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Не любовь — принятие.
Не прощение — смирение.
Не надежда — готовность.

Они были готовы. К смерти. К исчезновению. К пустоте.

Потому что у них не было выбора.

Как у него.

Как у всех.

Ирис подошла к нему, взяла за руку. Они стояли на краю лагеря, глядя на восток, где небо светлело — бледной, болезненной желтизной, которая обещала тяжёлый день.

— Завтра мы идём к Мельнице, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость.

— Завтра, — ответил он.

— Ты боишься?

— Да, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я иду.

— Я с тобой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на клятву. — До конца. Что бы ни случилось.

Она сжала его руку — холодную, дрожащую, но живую, — и они стояли так до рассвета, слушая, как пыль поёт — тихо, далёко, почти не слышно.

А вдали, на юго-востоке, в серой, маслянистой дымке, чернели очертания Мельницы. Она ждала. Она всегда ждала.

Но она знала: они придут.

Не завтра — послезавтра.

Или через неделю.

Или через год.

Но придут.

Потому что пустой не остановится.

Потому что его тень стала короче, но его воля — длиннее.

Потому что он нёс на себе не только свою судьбу — судьбы тех, кто поверил ему.

И это бремя было тяжелее любого приговора.

Но он нёс его.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 47

ГЛАВА 48. ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ

Часть первая: Осколки вчерашней бури

I

Эйнар проснулся от того, что тишина перестала быть тишиной.

Она превратилась в нечто иное — тягучее, звенящее, как струна, на которой вот-вот лопнет последняя жила. Он лежал на спине, глядя в серое, безликое небо Плато, и чувствовал, как чёрный камень под спиной отдаёт холодом в самое нутро. Не в спину — в пустоту. В

ту самую, что жила внутри него теперь, когда отражение исчезло, а тень стала короткой, как обрубок пальца.

Он не знал, сколько проспал — час, два, всю ночь. Время на Плато текло иначе, особенно после вчерашнего суда. Оно не растягивалось и не сжималось — оно замерзло, превращалось в лёд, прозрачный, холодный, неподвижный. И в этом льду, как в замёрзшей реке, можно было разглядеть обрывки прошлого и намёки на будущее, но нельзя было понять, где настоящее.

После вчерашнего суда (если мрачным фарсом, где слова резали сильнее ножей, можно было назвать суд) лагерь Детей Бурь и Стражей не успокоился. Он замер. Затаился. Треснул, как лёд на весенней реке, и теперь эти трещины расходились всё шире, и никто не знал, когда полыхнёт.

Эйнар медленно сел, опираясь на здоровую руку. Левая рука, перевязанная свежей тряпичей, почти не болела. Только лёгкое, едва заметное напряжение в запястье напоминало о том, что ещё недавно здесь была открытая рана, гной, воспаление. Шрам, который оставил нож Стража, стал тонким, серебристым, похожим на тот, что украшал левую щеку Ирис. Два шрама — две памяти, две встречи со смертью, которая не взяла их, потому что они были нужны друг другу. Или потому, что смерть в Пустоте слишком занята, чтобы забирать всех подряд. Или потому, что пустота внутри него отпугивала даже смерть.

Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Он пересчитал их на ощупь: четырнадцать. Три кривые, но других нет. Нож — на поясе, в берёстовых ножнах. Всё на месте. Всё как всегда. Только внутри было иначе. Там, под рёбрами, дар пульсировал не видениями — тяжестью. Тяжестью того, что он сделал вчера.

Он вспомнил, как стоял перед Гармом, как смотрел в его единственный глаз, как говорил слова, которые не готовил заранее. Слова приходили сами — из пустоты, из дара, из той глубины, где не было ни страха, ни сомнений. Он не хотел уничтожать Гарма. Он хотел только, чтобы тот перестал мешать. Но правда оказалась страшнее любого клинка. Она не убила вождя — она сломала его. И теперь Эйнар нёс эту тяжесть. Не как вину — как память.

II

Ирис не спала.

Она сидела в трёх шагах, прислонившись спиной к чёрному камню, и смотрела на восток. Её лицо было бледным, почти прозрачным в тусклом, голубоватом свете, который сочился из трещин в камне. В его глубине, под тонкой, потрескавшейся кожей, пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Под глазами залегли глубокие тени — она не смыкала глаз всю ночь. Или не могла. Или не хотела. Губы потрескались, и на левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам.

В тусклом, голубоватом свете этот шрам казался живым — он пульсировал в такт её дыханию, в такт её сердцу, в такт той тишине, которая висела над лагерем, как саван.

— Ты не спал, — сказала она, не оборачиваясь. Голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась глубокая, тянущая усталость — такая, которая бывает не от бессонницы, а от того, что слишком много видела и не могла забыть.

— Не спал, — ответил он, поднимаясь и отряхивая колени. Пыль — серая, маслянистая, поющая — поднялась в воздух тонкими струйками, закружилась, запела тихо, почти неслышно. — Думал.

— О чём?

— О Гарме. О том, что будет сегодня. О том, как можно смотреть в глаза человеку, которого разрушил, и не чувствовать себя палачом.

Ирис повернулась к нему. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел не страх. Понимание. Глубокое, почти болезненное понимание того, что он чувствует. Она сама проходила через это. Много раз. В Ордене, когда не могла спасти пациента. В Пустоте, когда видела, как рассыпаются те, кого она лечила. Она знала, что такое нести чужую смерть на своих плечах.

— Гарм не успокоится никогда, — сказала она. — Он не проиграл — он затаился. Его власть треснула, но не рухнула. Ещё есть те, кто верен ему. Те, кто боится тебя больше, чем его. Те, кому нужен враг, чтобы оправдать свою жестокость. Ты стал этим врагом. И теперь ты должен смотреть на него, не отводя глаз. Иначе он убьёт тебя. Не сегодня — завтра. Не ядом — клеветой. Не клеветой — правдой, вывернутой наизнанку.

Она говорила ровно, спокойно, но каждое слово падало в тишину, как камень в воду, как пепел на снег, как память в забвение. Эйнар слушал, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Согласие. Она была права. Гарм не сдастся. Он будет ждать. Он будет считать. Он будет искать слабость.

— Я знаю, — ответил он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я знаю, Ирис. Я не боюсь его. Я боюсь себя. Боюсь, что однажды я перестану видеть разницу между правдой и жестокостью. Между спасением и убийством. Между зеркалом и мечом.

Она взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую — и сжала её. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Ты не перестанешь, — сказала она. — Потому что ты помнишь. А память — это единственное, что отличает палача от воина. Палач забывает лица. Воин — нет.

III

Брин пришла к ним, когда свет из трещин в камне стал чуть ярче — на Плато наступило утро, если это серое, болезненное состояние можно было назвать утром.

Она шла медленно, опираясь на обломок копья, и её доспех трещал при каждом шаге. Чёрный, маслянистый, покрытый глубокими трещинами, он пульсировал слабым, голубоватым

светом. Тише, чем вчера. Усталее. Как будто сама мысль о том, что сегодня может случиться, высосала из него последние силы.

Из трещин сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая. Не та, громкая песня, что звучала в «звонящий час», — другая. Тихая, почти неслышная, похожая на шёпот, на вздох, на прощание. Пыль кружилась вокруг её ног, поднималась до колен, до пояса, и Эйнару казалось, что он видит не женщину — призрак. Призрак того, кто когда-то был человеком, а теперь стал памятью о себе.

Рядом с ней, в двух шагах, шёл Рун. Его лицо было бледным, почти белым, под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Топор висел на поясе, пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимали древко так, что костяшки побелели. Он не смотрел на Брин. Смотрел на Эйнара. И в его взгляде — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — не было ненависти. Был вопрос. Тяжёлый, липкий, как смола. «Почему ты? Почему она смотрит на тебя, а не на меня? Почему ты стал важнее вождя? Почему ты не умер вчера?»

Эйнар встретил его взгляд и не отвёл глаз. Он не знал, что ответить. Не знал, как объяснить Руну то, что не мог объяснить себе. Он не искал власти. Не искал преданности. Не искал любви. Он искал правду. Но правда оказалась тяжелее, чем он думал. Она ломала людей. Она рушила судьбы. Она заставляла жену смотреть на мужа, который ненавидит её, и не знать, как жить дальше.

— Гарм не вышел из шатра, — сказала Брин, и голос её был слабым, едва слышным, как шёпот пыли. — Всю ночь оттуда доносились крики. Не приказы — рыдания. Он бил посуду. Рвал шкуры. Кричал, что ты — Наблюдатель, пришедший забрать его душу.

Она замолчала, перевела дыхание. Её грудь под треснувшим доспехом вздымалась тяжело, с присвистом. Пыль из трещин сочилась быстрее, когда она дышала, и Эйнару показалось, что он слышит не только дыхание — он слышит, как её тело рассыпается. Медленно, неотвратно, как рассыпаются кости под тяжестью времени.

— Воины слышали, — продолжала Брин. — Им страшно. Не перед тобой — перед ним. Вождь не должен рыдать. Вождь не должен бояться тени пустого. Он потерял лицо. А тот, кто потерял лицо, теряет власть.

Она говорила, и в её голосе не было радости. Не было злорадства. Была усталость. Глубокая, беспросветная усталость человека, который слишком долго ждал и наконец дождался — но не того, на что надеялся.

— Он не потерял власть, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была горечь. — Он просто увидел правду. А правда — это зеркало. И в этом зеркале он не узнал себя.

Брин посмотрела на него долго, изучающе. В её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — мелькнуло что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Понимание.

— Ты говоришь как Патриарх, — сказала она. — Как тот, кто не смотрит, но видит. Берегись, пустой. Такие речи убивают. Не тех, кто их произносит — тех, кто их слышит. Гарм слышал. Он никогда не простит тебе этого. Никогда.

Она развернулась и пошла обратно в лагерь, не дожидаясь ответа. Рун — за ней, молча, как тень, как цепь, как приговор. Их тени — длинная, чёрная, правильная, и короткая, бледная, почти невидимая — лежали на чёрном камне, пересекаясь в одной точке. И в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

IV

Хьялмар появился у костра, когда Эйнар уже собирался идти к краю лагеря — туда, где чёрные камни круга уходили в серую, маслянистую дымку. Он шёл тяжело, опираясь на боевой посох, и его лицо было бледным, измождённым, с глубокими царапинами на щеке — след от копья Стража, которое прошло в волосе от смерти. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была тревога. Та самая, которую он не мог показать воинам, но мог позволить себе здесь, в тишине, перед новым днём.

— Гарм зовёт тебя, — сказал он, не здороваясь. — Не на суд — на разговор. Один на один. У старого камня. Того, что за лагерем, где мы хоронили павших. Он сказал, что хочет... поговорить. Без свидетелей. Без оружия. Без лжи.

Эйнар замер. Внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он попытался заглянуть в будущее — увидеть, что ждёт его у старого камня, — но дар молчал. Только пустота. Только тьма. Только ожидание.

— Он хочет убить меня, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не словами — кинжалом. Не при всех — в тени. Не сегодня — завтра. Он хочет, чтобы я пришёл один, и тогда он сделает то, что не смог сделать вчера.

Хьялмар покачал головой. Медленно, тяжело, как качается старая ветка на ветру, как качается память под тяжестью лет. Его лицо стало ещё бледнее, и Эйнару показалось, что он видит не воина — старика. Уставшего старика, который слишком долго сражался и не знал, когда это кончится.

— Может быть, — сказал он. — А может быть, он действительно хочет говорить. Он сломлен, пустой. Не ты — зеркало. Он увидел в нём не своё лицо — свою смерть. Не ту, что приходит с топором, — ту, что приходит тихо, как время, как забвение.

Хьялмар замолчал, провёл рукой по лицу, стирая пыль и пот. Его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — дрожали. Не от холода — от напряжения, которое наконец находило выход.

— Он боится не тебя — пустоты, — продолжал Хьялмар. — А ты — её голос. Ты — её лицо. Ты — её память. Он хочет заключить с тобой сделку. Или умереть, пытаясь. Я не знаю. Я не пророк. Я только воин, который устал ненавидеть.

Он замолчал. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Где-то в лагере заплакал ребёнок — тонко, надрывно, как плачут только дети в Пустоте, когда видят сны о том, чего не было и не будет.

— Я пойду, — сказал Эйнар наконец, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не потому, что верю ему. Потому, что если я не пойду — он победит. Он скажет, что я трусил. Он скажет, что я боюсь правды. А правда — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает. Я не боюсь правды.

— Тогда я пойду с тобой, — сказал Хьялмар, и в его голосе появились новые нотки — не просьба, не приказ, а что-то другое, похожее на мольбу. — Не как свидетель — как щит. Если он ударит — я успею. Если нет — я просто постою рядом. Ты не должен быть один.

— Нет, — ответил Эйнар, и голос его стал твёрже, как у человека, который уже всё решил и не собирается отступать. — Ты останешься здесь. Если я не вернусь через час — приходи. Но не раньше. Дай мне время. Дай ему время. Дай правде время.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

— Хорошо, пустой, — сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я буду ждать. Ровно час. Ни больше, ни меньше. И если ты не вернёшься — я приду за тобой. И приведу всех, кто верит тебе. И мы посмотрим, чья правда сильнее.

Он развернулся и ушёл, не оглядываясь. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

V

Ирис подошла к нему, когда он уже собрался идти. Её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался.

— Ты идёшь к нему без оружия, — сказала она. — Это смело. Или глупо. Или то и другое вместе. Но я не прошу тебя остаться. Я только прошу — вернись. Если сможешь. Если нет — я пойму.

— Я вернусь, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не потому, что я сильный. Потому, что ты ждёшь. А ждать — это тяжелее, чем умирать. Я не хочу, чтобы ты ждала напрасно.

Она взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую, — сжала её на секунду, на две, на три. Потом отпустила.

— Иди, — сказала она. — Я буду здесь.

Он пошёл.

Часть вторая: Тот, кто не смотрит

VI

Путь к старому камню лежал через южный край лагеря, мимо чёрных скал, которые уходили вверх, в серое, пустое небо, и вниз, в такую же серую, пустую землю.

Эйнар шёл медленно, и ему казалось, что он идёт не по камню — по времени. По той самой трещине, которая расколола мир много веков назад. По краю, за которым — пустота. Или ответ. Или то и другое вместе.

Пыль под ногами была сухой, маслянистой, она хрустела, как старая, высохшая кость, и пела — тихо, далёко, почти не слышно. Но сегодня в её песне было что-то, чего он не слышал раньше. Не боль, не память, не надежду. Прощание.

Он вспомнил, как много лет назад, в Терновой Гриве, он впервые услышал песню пыли. Ему было тогда лет семь, не больше. Дар только проснулся — он увидел смерть Торкеля в серебряном кулоне, висевшем на шее у его матери. Пыль тогда пела громко, отчаянно, безнадежно. Он не понял слов — понял боль. Боль того, кто знает, что умрёт, но не может ничего изменить.

Теперь он понимал больше. Пыль пела о тех, кто рассыпался. О тех, кто стал частью этого места. О тех, кто ждал, когда кто-нибудь придёт и услышит.

Он шёл, и пыль пела. И в её песне, в её звоне, в её бесконечной, древней мелодии, было что-то, от чего ему хотелось закрыть уши. Но он не закрывал. Он слушал. Потому что если не он — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что он — пустой. А пустые слышат то, что другие не слышат.

Чёрные скалы по обе стороны тропы были гладкими, маслянистыми, на них не было ни одного отражения — только пустота. Эйнар смотрел на них, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Он знал, что эти скалы видели многое. Смерти. Рождения. Клятвы. Предательства. Они помнили тех, кто уже рассыпался. И они ждали. Как он. Как Гарм. Как все.

VII

Старый камень был не таким, как другие.

Он лежал в небольшом углублении, окружённый обломками костей — не человеческих, звериных, с длинными, острыми клыками, которые смотрели вверх, как копыта. Кости были старыми — Эйнар видел это по потрескавшейся поверхности, по жёлтому, болезненному цвету, по тому, как они крошились от малейшего прикосновения ветра.

Камень был чёрным, гладким, отполированным до маслянистого блеска тысячами дождей, которых здесь никогда не было. На его поверхности не было ни пыли, ни пепла, ни памяти. Только пустота. И ожидание.

Гарм сидел на этом камне.

Он был не в доспехе — в простой шкуре, серой, вылинявшей, с прорехами на плечах. Шкура была старой — Эйнар помнил её. В ней Гарм сидел на Совете, когда они впервые встретились. Тогда она казалась тёплой, живой, почти родной. Теперь она висела на нём, как мешок, как саван, как память о том, кем он был.

Его костяная пясть лежала рядом, на земле, как мёртвый зверь, как брошенное оружие, как память о власти, которой больше нет. Позвонки рассыпались — не все, но многие. Они лежали в чёрной пыли, и Эйнару показалось, что он слышит их тихий, тоскливый стон. Позвонки прощались. С Гармом. С собой. С тем, что было.

Гарм постарел за одну ночь. Волосы, которые ещё вчера были чёрными с проседью, сегодня стали пепельно-серыми, почти белыми. Лицо осунулось, покрылось глубокими морщинами, которых не было раньше. Кожа висела складками, как старая, высохшая ткань. Руки дрожали — не от холода, от того, что он перестал быть тем, кем был тридцать лет.

Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на Эйнара, и в этом взгляде не было ни гнева, ни ярости, ни страха. Было что-то другое. Пустота. Та самая, которая жила внутри Эйнара теперь, когда его отражение исчезло.

— Ты пришёл, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я думал, ты не придёшь. Думал, испугаешься. Думал, пошлёшь вместо себя свою женщину или Хьялмара. Но ты пришёл. Один. Без оружия. Без защиты. Это... это дорогого стоит. Или ничего не стоит. Не знаю. Я больше ничего не знаю.

— Я пришёл, — ответил Эйнар, останавливаясь в десяти шагах от камня. Он не подходил ближе — чувствовал, что Гарму нужно расстояние. Не для удара — для дыхания. — Не потому, что ты позвал. Потому, что я должен был прийти. Потому, что если я не приду — трещина между нами станет пропастью. А пропасть не перепрыгнуть. Её можно только заполнить. Правдой. Или кровью. Я выбираю правду.

Гарм усмехнулся — криво, беззубо, и в этой усмешке, в этой кривой, беззубой улыбке, было что-то, от чего Эйнару стало холодно. Не угроза — согласие. Согласие на то, что он больше не враг. Согласие на то, что он проиграл. Согласие на то, что он должен уйти.

— Ты говоришь о правде, пустой, — сказал Гарм. — А что ты знаешь о правде? Ты, чьё отражение исчезло? Ты, чья тень стала короче, чем умирающий уголь? Ты, кто видит смерти, но не может их предотвратить? Ты называешь это правдой? Я называю это проклятием.

— Может быть, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но это моё проклятие. И я научился жить с ним. Не бороться — нести. Как ты нёс свою власть тридцать лет. Как ты нёс страх своих воинов. Как ты нёс память о тех, кто пал. Ты нёс, и ты устал. Я вижу это. Зеркало показало. Ты боишься не меня — ты боишься своего отражения. Того, кто смотрит на тебя из будущего и не узнаёт.

VIII

Гарм молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать.

Пыль вокруг них затихла. Даже она, казалось, ждала. Даже она понимала, что сейчас случится что-то важное. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Но что-то случится.

Потом Гарм заговорил — тише, глубже, печальнее, чем когда-либо.

— Ты прав, пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на сожаление. — Я боялся не тебя. Я боялся того, что ты показал. Свою смерть. Не в бою — в старости. Не от топора — от времени. Не от врага — от забвения.

Он замолчал, провёл рукой по лицу — по бледному, морщинистому лицу, по единственному глазу, по седым, свалывшимся волосам. Его пальцы — тонкие, с узловатыми суставами, с тёмными пятнами на коже — дрожали.

— Я тридцать лет строил клан, — продолжал Гарм, и голос его стал громче, но не от ярости — от боли. — Тридцать лет я убивал, чтобы они боялись. Тридцать лет я лгал, чтобы они верили. Я думал, что если они будут бояться меня — они не предадут. Я думал, что если они будут верить мне — они пойдут за мной в огонь и воду. Я думал, что я — бог. Не человек — бог. А боги не умирают. Не стареют. Не исчезают.

Он сжал кулаки, и костяшки его пальцев побелели. Под ногтями выступила кровь — тёмная, густая, почти чёрная. Он не замечал. Или замечал, но не хотел показывать.

— А ты пришёл, — сказал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на отчаяние. — Ты пришёл с запада, с пустотой внутри, с даром, который видит смерти. Ты пришёл и одним зеркалом разрушил всё. Не мечом — отражением. Не словом — правдой. Не силой — знанием. Как мне жить с этим? Как мне смотреть в глаза своим воинам? Как мне держать костяную пясть, если рука дрожит?

Он замолчал. Эйнар смотрел на него, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Жалость. Глубокая, почти болезненная жалость к этому старому, сломленному человеку, который когда-то был вождём. Который когда-то не боялся ни медведя, ни человека, ни даже пустоты. Который когда-то держал в руке топор и рубил головы врагам, не моргнув глазом.

— Ты не должен жить с этим, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была горечь. — Ты должен принять это. Принять, что твоя власть кончилась. Что твои воины выбрали не тебя — правду. Что ты не первый и не последний, кто проиграл битву, которую не начал.

Он сделал шаг вперёд. Потом другой. Остановился в пяти шагах от Гарма. Теперь их разделяла только пустота. Та самая, которая жила внутри обоих.

— Это не позор — это жизнь, — продолжал Эйнар. — Жизнь, которая не подчиняется приказам. Жизнь, которая течёт, как вода, как время, как память. Ты не можешь остановить её. Ты можешь только плыть. Или утонуть. Выбирай.

Гарм смотрел на него долго, изучающе. В его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Вопрос.

— А ты? — спросил Гарм. — Ты плывёшь или тонешь? Ты, кто идёт к Мельнице, зная, что не вернёшься? Ты, кто ведёт за собой людей, которые верят тебе больше, чем себе? Ты, кто смотрит в пустоту и не отводит глаз? Ты плывёшь или тонешь?

Эйнар молчал. Смотрел на Гарма, на его сторбленную спину, на его дрожащие руки, на его короткую, бледную тень. И думал. Думал о том, что он видел. О смертях, которые не мог предотвратить. О людях, которых не мог спасти. О правде, которая оказалась тяжелее любого клинка.

— Не знаю, — ответил он наконец, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как исповедь. — Но я иду. Потому что если я остановлюсь — я умру. Не от клинка — от страха. А страх — это цепь. А я не раб.

Часть третья: Сделка на пепле

IX

Гарм поднялся с камня.

Медленно, опираясь на руки, и его колени хрустнули — сухо, тоскливо, как хрустят старые кости, когда время берёт своё. Он стоял, сторбленный, маленький, и его тень — когда-то длинная, чёрная, правильная — сегодня была короткой, бледной, почти невидимой. Как у Эйнара. Как у всех, кто стоит на краю.

Он сделал шаг вперёд, потом другой. Остановился в трёх шагах от Эйнара. Теперь они стояли так близко, что Эйнар чувствовал его дыхание — тёплое, с запахом старой крови и трав, которые заменяли табак в Пустоте. Дыхание было частым, поверхностным — Гарм не мог глубоко вдохнуть. Не от болезни — от страха. Страх перед тем, что он собирался сказать.

— Я хочу заключить с тобой сделку, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не с твоим даром — с твоей памятью. Не с твоим именем — с твоей пустотой.

Эйнар замер. Внутри, под рёбрами, дар пульсировал — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он попытался заглянуть в будущее — увидеть, что Гарм предложит, — но дар молчал. Только пустота. Только тьма. Только ожидание.

— Какую сделку? — спросил он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности было напряжение.

— Я уйду, — сказал Гарм. — Не сегодня — завтра. Или через неделю. Я уйду в Пустошь один. Без воинов. Без волкодавов. Без имени. Я стану пылью, как те, кто рассыпался раньше. Но я хочу, чтобы ты запомнил меня. Не вождём — человеком. Не врагом — тем, кто боролся до конца. Не трусом — тем, кто признал поражение.

Он замолчал, перевёл дыхание. Его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на Эйнара, и в этом взгляде, в этой светлой, почти бесцветной глубине, было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Мольбу.

— Запомни моё имя, — продолжал Гарм, и голос его стал тише, почти неслышным, но каждое слово врезалось в память, как нож врезается в кожу. — Запомни моё лицо. Запомни, что я был. И когда ты дойдёшь до Мельницы, когда ты встретишься с Наблюдателем, когда ты узнаешь правду — вспомни меня. Скажи ему: «Гарм не сдался. Гарм ушёл, но не исчез». Сможешь?

Эйнар молчал. Смотрел на Гарма, на его сгорбленную спину, на его дрожащие руки, на его короткую, бледную тень. И внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Согласие.

— Смогу, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я запомню тебя, Гарм. Не вождём Детей Бурь — человеком. Который боялся, но не бежал. Который ошибался, но признал это. Который проиграл, но не сломался. Это больше, чем у многих.

Х

Гарм кивнул — медленно, тяжело, как кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать. Его единственный глаз наполнился влагой — не слезами, той влагой, которая появляется у старых людей, когда они вспоминают то, что потеряли навсегда.

— Хорошо, пустой, — сказал он. — Тогда я скажу тебе то, чего не говорил никому. Даже Сайге. Даже своей жене, которая исчезла в «звонящий час». Я скажу, почему я так боялся тебя. Не твоей силы — твоей правоты.

Он сел обратно на камень — не потому, что хотел, потому, что ноги не держали. Его руки — тонкие, с узловатыми суставами, с тёмными пятнами на коже — лежали на коленях, как мёртвые птицы, как старые корни, как память.

— Я убил своего отца, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание. — Не ножом — правдой. Он был вождём до меня. Он правил сорок лет. Он был сильным, жестоким, мудрым. Но он состарился. Его тень стала короткой, как твоя. Его рука дрожала, как моя сейчас. Воины перестали бояться его. Они начали шептаться.

Он замолчал, закрыл единственный глаз. На секунду — на миг — на то самое мгновение, которое отделяет жизнь от смерти, память от забвения, отражение от пустоты.

— Сначала за спиной, — продолжал Гарм, открывая глаз. — Потом — в лицо. «Ты стар, вождь. Ты слаб. Ты должен уступить место молодым». Я слушал. Я молчал. Я ждал. А потом я сказал: «Отец, ты больше не нужен клану. Уходи в Пустошь. Или умри здесь, но умри один».

Он провёл рукой по лицу — по бледному, морщинистому лицу, по единственному глазу, по седым, свалившимся волосам. Его пальцы дрожали.

— Он посмотрел на меня — так же, как ты смотришь на меня сейчас, — сказал Гарм, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на удивление. — Без страха. Без ненависти. С жалостью. Он сказал: «Ты станешь таким же, сын. Время не щадит никого. Ты будешь стоять на краю, и кто-то скажет тебе те же слова. Запомни их. И не вини того, кто их скажет».

Он замолчал. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

— Я не поверил ему, — сказал Гарм, и голос его стал тише, почти неслышным. — Думал, я сильнее. Думал, время обойдёт меня стороной. Думал, я умру в бою, с топором в руке, с криком на губах. А теперь... теперь я стою на краю. И ты говоришь мне те же слова. Не «уходи» — «прими». Ты мудрее меня, пустой. Или безумнее. Или то и другое вместе. Неважно. Ты прав. А я ошибался. Всю жизнь.

XI

Эйнар сделал шаг вперёд. Потом другой. Потом третий. Остановился в двух шагах от Гарма. Теперь их разделяла только пустота. Та самая, которая жила внутри обоих.

— Ты не ошибался, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была теплота. — Ты был тем, кем должен был быть. Вождём. Отцом. Воином. Ты делал то, что считал правильным. Это не ошибка — это жизнь.

Он протянул руку — не для удара, не для защиты, для примирения.

— Твои воины не забыли тебя, — продолжал Эйнар. — Они просто... выбрали. Не правду — возможность выжить. Я не судья. Я не палач. Я только пустой, который идёт к своей смерти. И я не хочу, чтобы ты умирал с мыслью, что ты — ошибка. Ты — человек. А люди ошибаются. Все. Даже я. Даже Наблюдатель. Даже те, кто создал первое зеркало.

Гарм смотрел на него долго, изучающе. В его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — мелькнуло что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Облегчение.

— Спасибо, пустой, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как молитва. — Спасибо за то, что не дал мне умереть с ненавистью. За то, что заставил посмотреть в зеркало. За то, что показал правду. Я не забуду. Я запомню тебя. Не врагом — учителем. Не убийцей — спасителем.

Он протянул руку — тонкую, дрожащую, с узловатыми пальцами, с чёрной каймой под ногтями. Эйнар взял её. Холодную. Живую. Человеческую.

Они стояли так — вождь и пустой, враги, которые стали свидетелями чужой правды. И в их рукопожатии, в их молчании, в их общей пустоте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Часть четвёртая: Свидетельница

XII

Она появилась из-за камня, когда солнце (бледное, почти белое пятно за пеленой облаков) поднялось на высоту двух копий. Эйнар не услышал её шагов — шагов вообще не было. Была только тишина, которая вдруг стала другой. Не пустой, не ожидающей, а той, которая бывает перед рассветом, когда даже ветер спит, а звери затаились в норах, пережидая темноту.

Сайга шла медленно, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — мутных, почти белых — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался. Она не удивилась, увидев их вместе. Она знала. Кости сказали ей.

Она остановилась в пяти шагах, воткнула посох в чёрную пыль, и посох загудел — низко, глухо, как больной орган. В этом гуле, в этом звуке, было что-то, от чего камни задрожали, а пыль запела громче.

— Я ждала этого, — сказала Сайга, и голос её был низким, скрипучим, как старая, прожавевшая дверь, но в нём слышалось что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не угроза — примирение. — Я знала, что вы встретитесь. Не как враги — как люди. Кости не врут. Они сказали: «Два волка встретятся у старого камня. Один уйдёт в пустоту. Другой — в память. Оба останутся живы. Оба умрут. Не телами — душами. Не сегодня — завтра». Я не поняла. Теперь поняла.

Гарм посмотрел на неё. В его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — не было гнева. Была усталость. Та самая, глухая, беспросветная усталость человека, который слишком долго сражался и наконец решил остановиться.

— Ты знала, старуха, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на сожаление. — Ты знала, что он придёт. Ты знала, что я проиграю. Ты знала, что мой клан расколется. Почему ты не сказала? Почему ты позволила мне идти к пропасти?

Сайга подошла ближе. Остановилась рядом с Эйнаром, положила руку ему на плечо. Её пальцы — тонкие, с узловатыми суставами, с тёмными пятнами на коже — были холодными, но не обжигающими — просто холодными, как лёд, как вода, как пустота.

— Потому что ты не поверил бы, — ответила Сайга, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную правду. — Потому что ты должен был увидеть сам. Потому что только так можно научиться. Не через слова — через боль. Не через страх — через падение.

Она замолчала, посмотрела на Гарма долго, изучающе. В её мутных, почти белых глазах было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Прощание.

— Ты упал, вождь, — сказала Сайга. — Теперь ты знаешь, что такое дно. И теперь ты можешь идти. Или остаться. Выбор за тобой.

Гарм молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать.

Потом Гарм медленно поднялся с камня. Его ноги дрожали, но он стоял. Смотрел на Сайгу, на Эйнара, на чёрные скалы, на серое, пустое небо. И в его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не гнев, не ярость, не страх. Мир.

— Я пойду, — сказал Гарм, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине он прозвучал как прощание. — Я пойду в Пустошь. Один. Без имени. Без власти. Без страха. Я стану пылью. Или не стану. Или стану, но буду петь. Неважно. Я уйду. И я не вернусь.

Он поднял с земли костяную пясть — свою гордость, свою память, свою цепь. Позвонки скрежетнули, издав тот самый сухой, тоскливый звук, который Эйнар уже научился узнавать. Гарм посмотрел на пясть долго, изучающе. Потом разжал пальцы.

Пясть упала на чёрный камень. Позвонки рассыпались — не все, но многие, — заскрежетали, застонали. И затихли.

Гарм развернулся и пошёл прочь, не оглядываясь. Его тень — короткая, бледная, почти невидимая — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, такой же короткой, такой же бледной, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало холодно.

ХIII

Сайга смотрела вслед Гарму, пока он не исчез в серой, маслянистой дымке. Потом повернулась к Эйнару.

— Ты сделал то, что должна была сделать я, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на благодарность. — Ты заставил его посмотреть в зеркало. Ты заставил его признать правду. Ты сломал его — и спас. Это не каждому дано. Даже пророкам. Даже пустым.

Эйнар смотрел на неё, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Горечь.

— Я не спасал, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была боль. — Я просто показал ему то, что он боялся увидеть. Это не подвиг — это жестокость. Я разрушил человека не мечом — отражением. Как мне жить с этим?

Сайга смотрела на него долго, изучающе. В её мутных, почти белых глазах было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Мудрость.

— Как все, — ответила она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную мудрость. — Ты будешь помнить. Ты будешь сомневаться. Ты будешь спрашивать себя: «А можно ли было иначе?» И ты не найдёшь ответа. И будешь жить с этим. Или умрёшь. Или исчезнешь. Или станешь пылью. Но ты будешь помнить. А память — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

Она замолчала, развернулась и пошла к лагерю, не оглядываясь. Её тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной,

почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Часть пятая: Цена отражения

XIV

Ирис ждала его у входа в лагерь.

Она стояла, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался. Она не плакала. Она не улыбалась. Она просто ждала. Как умела. Как могла. Как та, кто слишком много ждала в своей жизни и научилась не надеяться, а просто — быть рядом.

— Ты жив, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на облегчение. — Это хорошо. Или плохо. Не знаю. Но ты жив. А значит — у нас есть шанс.

— Есть, — ответил он, подходя ближе. — Гарм ушёл. Не в лагерь — в Пустошь. Один. Без имени. Без власти. Он сказал, что не вернётся. Я поверил ему.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Вопрос.

— Ты жалеешь его? — спросила она.

— Жалею, — ответил Эйнар, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание. — Он не был злым. Он был слабым. Он боялся. А страх — это не преступление. Это болезнь. Я не вылечил его — я показал ему его болезнь. Это не лечение — это приговор.

Ирис подошла ближе, взяла его за руку. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — сжали его ладонь. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Но ты дал ему выбор, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не утешение, не оправдание, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную правду. — Ты мог убить его. Ты мог изгнать его. Ты мог забыть его. Ты не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Ты дал ему уйти. Это больше, чем получил ты, когда твоя деревня изгнала тебя. Ты не отомстил. Ты простил. Или не простил — понял. Это дорогого стоит.

Она замолчала. Эйнар молчал. Только пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

XV

В лагере их встретили молчанием.

Воины Гарма — те, кто остался верен вождю, — сидели у догорающих костров, прижавшись к чёрным камням, и их лица были бледными, почти белыми. Они смотрели на Эйнара, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не ненависть, не уважение. Пустоту.

Они не знали, что делать. Их вождь ушёл. Их вера рухнула. Их будущее стало туманом. Кто-то сидел, опустив голову на руки. Кто-то сжимал топор, но не знал, куда его направить. Кто-то просто смотрел в пустоту и ждал. Чего? Смерти? Исцеления? Чуда?

Хьялмар подошёл к Эйнару, остановился в двух шагах. Его лицо было бледным, измождённым, но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была гордость.

— Ты сделал это, пустой, — сказал он, и голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось уважение. — Ты заставил его уйти. Не силой — правдой. Ты сломал его власть, не подняв топора. Это... это дорогого стоит. Ты не воин — ты мудрец. Или безумец. Или то и другое вместе. Но ты — вождь. Не по крови — по духу. Не по приказу — по правде.

Эйнар покачал головой. Медленно, тяжело, как качается старая ветка на ветру, как качается память под тяжестью лет.

— Я не вождь, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была усталость. — Я — пустой. Я — тот, кто идёт к Мельнице. Я не могу править. Я могу только идти. Или стоять. Или падать. Но я не могу сидеть на троне и судить. Это не моя судьба.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Понимание.

— Тогда иди, — сказал он. — А мы пойдём за тобой. Не как подданные — как равные. Не как рабы — как свободные. Мы выбрали правду. Теперь мы должны идти до конца. Или умереть, пытаясь. Или исчезнуть. Или стать пылью. Неважно. Мы идём.

XVI

Поздно ночью, когда лагерь затих, а костры догорели, Эйнар сидел у своего камня и смотрел на обсидиановый осколок первозеркала — тот самый, который подобрал на поле битого стекла.

В его глубине больше не было точки. Только серая, маслянистая тьма. Такая же, как в Чёрном зеркале. Такая же, как в воде колодца мёртвой деревни. Такая же, как пустота, которая жила внутри него теперь, когда его отражение исчезло.

Он смотрел в эту тьму, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Ирис не спала. Она сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, глубоким — она не спала, просто отдыхала. Набиралась сил перед следующим днём. Или перед смертью. Или перед исчезновением. Или перед тем, что между.

— Ты не должен быть один, — сказала она, не открывая глаз. — Даже когда думаешь, что должен. Даже когда кажется, что никто не поймёт. Даже когда боль становится слишком сильной. Я здесь. Я рядом. Я не уйду.

— Я знаю, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную благодарность. — Я знаю, Ирис. Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Я не забуду. Я запомню. Даже когда всё остальное исчезнет.

Он сжал её руку — холодную, дрожащую, но живую — и закрыл глаза.

XVII

В лагере, у чёрного камня, Рун и Брин сидели спиной к спине.

Они не спали. Они ждали рассвета. Их тени — длинная, чёрная, правильная, и короткая, бледная, почти невидимая — лежали на чёрном камне, пересекаясь в одной точке. Рун смотрел на Брин. Брин смотрела на небо. И в их молчании, в их общей тени, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

Не любовь — принятие.
Не прощение — смирение.
Не надежда — готовность.

Они были готовы. К смерти. К исчезновению. К пустоте. Потому что у них не было выбора. Как у него. Как у всех.

Ирис подошла к Эйнару, взяла за руку. Они стояли на краю лагеря, глядя на восток, где небо начинало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая обещала тяжёлый день.

— Завтра мы идём к Мельнице, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость.

— Завтра, — ответил он.

— Ты боишься?

— Да, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я иду.

— Я с тобой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на клятву. — До конца. Что бы ни случилось.

Она сжала его руку — холодную, дрожащую, но живую — и они стояли так до рассвета, слушая, как пыль поёт — тихо, далёко, почти не слышно.

А вдали, на юго-востоке, в серой, маслянистой дымке, чернели очертания Мельницы. Она ждала. Она всегда ждала.

Но она знала: они придут.

Не завтра — послезавтра.

Или через неделю.

Или через год.

Но придут.

Потому что пустой не остановится.

Потому что его тень стала короче, но его воля — длиннее.

Потому что он нёс на себе не только свою судьбу — судьбы тех, кто поверил ему.

И это бремя было тяжелее любого зеркала.

Но он нёс его.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 48

Глава 49. ПАДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯСТИ

Часть первая: Утро без вождя

I

Эйнар проснулся от того, что тишина стала вязкой, как застывающая смола, в которую кто-то бросил горящую головню и теперь ждал, когда пламя съест всё, к чему прикоснётся.

Он лежал на спине, глядя в серое, пустое небо Плато, и чувствовал, как чёрный, гладкий камень под ним отдаёт холод, но холод этот был не физическим — он шёл изнутри, из той самой пустоты, что жила в нём теперь, когда отражение исчезло, а тень стала короткой, как обрубок пальца. Вчерашний разговор с Гармом у старого камня всё ещё стоял перед глазами — не видением, не воспоминанием, а незаживающей раной, которая не кровоточила, но и не затягивалась.

Он вспомнил, как Гарм смотрел на него — не как на врага, как на зеркало. Как в его единственном глазу — светлом, почти бесцветном, с точечным зрачком — мерцало нечто, чего Эйнар не видел в нём никогда: не страх, не ярость, не гнев. Тишину. Тишину человека, который наконец понял, что всё, во что он верил тридцать лет, было построено на песке. Или на пыли. Или на том, что рассыпается быстрее, чем успеваешь произнести «прощай».

Эйнар пошевелил пальцами левой руки — они гнулись легко, почти безболезненно. Шрам, который оставил нож Стража, стал совсем тонким, серебристым, почти незаметным, если не знать, где искать. Ирис говорила, что такие шрамы остаются навсегда. Что они — как память: не исчезают, даже когда рана заживает. Он провёл пальцем по этому шраму, чувствуя

под подушечкой гладкую, блестящую кожу, и подумал, что, наверное, это правда. И что теперь у него будет ещё один шрам — не на теле, на том месте, где раньше было спокойствие.

Он сел, опираясь на здоровую руку. Отцовы сапоги привычно обхватили голени — старая, потрескавшаяся кожа скрипнула, но не подвела. Лук был на плече. Стрелы — в колчане. Он пересчитал их на ощупь: всё те же четырнадцать. Три кривые, но других нет. Нож — на поясе, в ножнах из берёсты. Всё на месте. Всё как всегда. Только внутри было иначе. Там, где раньше пульсировал дар — не видениями, тяжестью. Тяжестью того, что он сделал вчера. Или не сделал — позволил случиться.

Он вспомнил, как Гарм стоял перед ним, сгорбленный, маленький, без доспеха, без пясти, без имени. Как его единственный глаз наполнился влагой — не слезами, той влагой, которая появляется у старых людей, когда они вспоминают то, что потеряли навсегда. Как он сказал: «Запомни моё имя». Не приказ — просьба. Последняя просьба человека, который понял, что от него останется только память. Или ничего.

«Я запомню», — ответил тогда Эйнар. И теперь понимал, что этот ответ был тяжелее любого обещания. Потому что помнить — значит нести. А он и так нёс слишком много. Смерти, которые видел в отражениях. Людей, которые шли за ним и исчезали. Правду, которая оказалась тяжелее любого клинка.

II

Ирис не спала. Она сидела на камне в трёх шагах от него, прислонившись спиной к холодной, гладкой стене, и смотрела на восток. Её лицо было бледным, почти прозрачным в тусклом, голубоватом свете, который сочился из трещин в камне, и в его глубине, под тонкой, потрескавшейся кожей, пульсировали голубые жилки — быстро, нервно, как бьётся сердце перепуганной птицы. Под глазами залегли глубокие тени — она не сомкнула глаз всю ночь. Или сомкнула, но сны не дали ей покоя.

На левой щеке всё ещё виднелась тонкая, серебристая полоска — след от ножа, который почти затянулся, но оставил после себя странный, светящийся шрам. В тусклом свете этот шрам казался живым — он пульсировал в такт её дыханию, в такт её сердцу, в такт той тишине, которая висела над лагерем, как саван. Иногда, когда она злилась или боялась, шрам становился ярче, почти голубым, и Эйнар знал: это не просто шрам. Это память о том дне, когда она выбрала его, а не свой Орден. О том дне, когда она сказала: «Я — твоё отражение». И он поверил.

— Ты не спал, — сказала она, не оборачиваясь. Голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась глубокая, тянущая усталость — такая, которая бывает не от бессонницы, а от того, что слишком много видела и не могла забыть.

— Не спал, — ответил он, поднимаясь и отряхивая колени. Пыль — серая, маслянистая, поющая — поднялась в воздух тонкими струйками, закружилась, запела тихо, почти неслышно. — Думал.

— О Гарме?

— О нём. О том, что будет сегодня, когда воины узнают, что он ушёл. О том, как смотреть в глаза тем, кто ещё вчера боялся его, а сегодня будут бояться меня. Или не бояться — ненавидеть. Или не ненавидеть — презирать за то, что я не убил его, когда мог.

Ирис повернулась к нему. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — он увидел не страх. Понимание. Глубокое, почти болезненное понимание того, что он чувствует. Она сама проходила через это. В Ордене, когда не могла спасти пациента. В Пустоте, когда видела, как рассыпаются те, кого она лечила. Она знала, что такое нести чужую жизнь на своих плечах — и чужую смерть тоже.

— Ты сделал то, что должен был, — сказала она. — Не больше и не меньше. Ты не убивал Гарма — ты дал ему выбор. А выбор в Пустоте — это роскошь, которую не каждый получает. Даже вожди. Даже те, кто правил тридцать лет. Посмотри на меня, Эйнар. Я помню, как Агата сказала мне: «Ты — инструмент. Инструмент не выбирает, для чего его использовать». Я поверила. Я была глупой. Или отчаявшейся. Или то и другое вместе. Но ты показал мне, что выбор есть всегда. Даже когда кажется, что его нет.

Она замолчала, потом добавила тише, почти шёпотом:

— Но ты прав. Сегодня будет тяжело. Не потому, что воины взбунтуются — потому, что они не знают, кому верить. Их вождь ушёл. Их вера рухнула. Они — как корабль без руля в море, которого они никогда не видели. И ты — единственный, кто может показать им направление. Не потому, что ты сильный. Потому, что они видят в тебе то, чего нет в них самих. Смелость смотреть правде в глаза.

III

Хьялмар пришёл к ним, когда свет из трещин в камне стал чуть ярче — на Плато наступило утро, если это серое, болезненное состояние можно было назвать утром.

Он шёл тяжело, опираясь на боевой посох, и его лицо было бледным, измождённым, с глубокими царапинами на щеке — след от копья Стража, которое прошло в волосе от смерти, но не убило, только оставило память. Глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — были красными, воспалёнными. Он не спал всю ночь. Или спал, но сны были хуже, чем бодрствование. Эйнар видел, как его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжимают посох так, что костяшки побелели. Не от страха — от напряжения, которое не отпускало даже здесь, на Плато, где время замерло и память застыла.

— Гарма нет в лагере, — сказал он, не здороваясь. — Я обыскал всё. Каждый камень, каждую кость, каждый шатёр. Его нигде нет. Он ушёл. Не взял ни еды, ни воды, ни оружия. Только шкуру, в которой вчера сидел на Совете. Я нашёл его следы — они ведут на юг, в Пустошь. Туда, откуда не возвращаются. Или возвращаются, но уже не людьми.

В его голосе не было радости. Не было злорадства. Была усталость — глубокая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражался и наконец понял, что война кончилась, но победа не принесла облегчения. Эйнар смотрел на него, и внутри, под рёбрами, пульсировало что-то — не дар, не страх, не надежда. Стыд. Не за Гарма — за себя. За то, что он стал тем зеркалом, в которое Гарм посмотрел и сломался.

— Воины знают? — спросил Эйнар. Голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была горечь.

— Ещё нет. Я хотел сказать им сам. Но не знаю, как. Как сказать людям, что их вождь, которого они боялись тридцать лет, просто... встал и ушёл? Не в бою, не от болезни, не от старости. Ушёл, потому что увидел в зеркале своё лицо и не узнал его. Как сказать им, что тот, кто держал в руке костяную пясть и рубил головы врагам, не моргнув глазом, теперь боится своей тени? Я не знаю таких слов, пустой. Я воин, а не скальд. Я умею убивать, но не умею хоронить живых.

Хьялмар замолчал, провёл рукой по лицу, стирая пыль и пот. Его пальцы дрожали. Не от холода — от напряжения, которое наконец находило выход. Эйнар смотрел на него и видел не воина — старика. Уставшего старика, который слишком долго сражался и не знал, когда это кончится.

— Я скажу им, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не потому, что я хочу. Потому, что должен. Потому, что если я не скажу — они решат, что я убил его. Или изгнал. Или заставил уйти. А правда проще и страшнее: он ушёл сам. Потому что не мог больше быть тем, кем был. И это не моя вина. И не твоя. И не его. Это просто... правда.

Он посмотрел на свои руки — правую, здоровую, и левую, перевязанную. Пальцы левой руки всё ещё болели, но уже не так сильно. Он пошевелил ими — отозвалось лёгкой пульсацией, но пальцы гнулись. Хорошо. Значит, он сможет стрелять. Сможет идти. Сможет драться. Сможет дойти до конца.

IV

Ирис взяла его за руку — холодную, дрожащую, но живую — и сжала её. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Я пойду с тобой, — сказала она. — Не как тень — как свидетель. Я видела, как он уходил. Я видела, как ты смотрел на него. Я видела, как он бросил костяную пясть на камни. Я скажу им правду. Или не скажу — покажу. Или не покажу — дам почувствовать. Потому что иногда правду нельзя рассказать. Её можно только пережить.

— Нет, — ответил Эйнар, и голос его стал твёрже, как у человека, который уже всё решил и не собирается отступать. — Ты останешься здесь. Если я не вернусь через час — приходи. Но не раньше. Дай мне время. Дай им время. Дай правде время. Потому что если ты придёшь раньше — они увидят не мои слова, а твою веру в меня. А вера — это цепь. А цепи не пускают к истине.

Хьялмар и Ирис переглянулись. В их взглядах — его, светлом, почти бесцветном, и её, тёмном, глубоком, с красными прожилками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не спор, не согласие, не сомнение. Принятие.

— Хорошо, пустой, — сказал Хьялмар, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Мы будем ждать. Ровно час. Ни больше, ни

меньше. И если ты не вернёшься — мы придём за тобой. И приведём всех, кто верит тебе. И посмотрим, чья правда сильнее.

Он развернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. Его тень — длинная, чёрная, правильная — упала на чёрный камень, пересеклась с тенью Эйнара, короткой, бледной, почти невидимой, и в этом пересечении, в этой черноте, было что-то, от чего Эйнару стало тепло.

V

Эйнар пошёл к центру лагеря один.

Он не взял лук. Не взял нож. Не взял стрелы. Только пустые руки и правду, которая была тяжелее любого оружия. Шёл медленно, и ему казалось, что он идёт не по камню — по времени. По той самой трещине, которая расколола мир много веков назад. По краю, за которым — пустота. Или ответ. Или то и другое вместе. Пыль под ногами была сухой, маслянистой, она хрустела, как старая, высохшая кость, и пела — тихо, далёко, почти не слышно. Но сегодня в её песне было что-то, чего он не слышал раньше. Не боль, не память, не надежду. Прощание. Пыль прощалась с Гармом. Или с ним. Или с ними обоими.

Воины уже проснулись. Они сидели у потухших костров, жевали вяленое мясо, переговаривались шёпотом — тихо, осторожно, как после похорон, когда каждое слово может разбередить свежую рану, но молчать уже невозможно. Когда Эйнар появился в центре лагеря, они замолчали совсем. Не потому, что боялись — потому, что ждали. Они чувствовали, что сегодня что-то случится. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Но что-то случится.

Эйнар остановился в центре, на том самом камне, где вчера стоял Гарм, когда судил его. Камень был чёрным, гладким, отполированным до маслянистого блеска тысячами ног, которые ступали по нему много лет. Или много веков. Или вечность. Эйнар стоял на этом камне, и ему казалось, что он стоит на могиле — не Гарма, того, кем Гарм был. Вождя. Железной пясти. Того, кто держал в страхе целый клан тридцать лет.

— Гарм ушёл, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была сила, которой воины не ожидали. — Не я изгнал его. Не я убил. Он ушёл сам. Потому что увидел в зеркале своё лицо и не узнал его. Потому что понял, что тридцать лет власти были построены на страхе, а страх — это не фундамент. Это песок. Или пыль. Или то, что рассыпается, когда на него смотрят.

Он замолчал, давая словам осесть. Воины молчали. Стражи молчали. Даже пыль, казалось, замерла на секунду, перестала петь, просто ждала.

— Я не вождь, — продолжал Эйнар, и голос его стал тише, но твёрже. — Я не воин. Я не судья. Я — пустой. Тот, у кого нет отражения. Тот, чья тень стала короткой, как обрубок пальца. Я иду к Мельнице. Я ищу ответ. И я не могу править вами. Не потому, что не хочу — потому, что не умею. Я умею только видеть смерти. И говорить о них. И помнить. А память — это не власть. Это время.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы.

Часть вторая: Сломанная пясть

VI

Рун поднялся с камня, на котором сидел.

Это произошло медленно, тяжело, с хрустом суставов, с треском костей, с шорохом старой, высохшей кожи. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Была решимость. Та самая, которая приходит, когда уже всё решил и не собираешься отступать.

— Ты не вождь, пустой, — сказал Рун, и голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сила, которой Эйнар не ожидал. — Но ты показал нам правду. А правда дороже власти. Я не хотел верить тебе. Я ненавидел тебя. Я хотел убить тебя. Но ты спас мой лагерь. Ты спас моих воинов. Ты спас мою жену. И ты не просил ничего взамен. Только правду. Этого достаточно.

Он шагнул вперёд, подошёл к Эйнару, остановился в двух шагах. Теперь их разделяла только пустота. Та самая, которая жила внутри обоих. Рун протянул руку — не для удара, не для защиты, для примирения. Его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — дрожали. Но он не убрал руку.

— Я не прошу тебя быть вождём, — сказал Рун. — Я прошу тебя идти с нами. Не за нами — рядом. Как равный с равным. Как пустота с пустотой. Ты показал нам дорогу. Теперь мы пройдем по ней вместе. Или умрём, пытаюсь.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не ненависть, не злобу, не страх. Уважение.

— Хорошо, — ответил Эйнар, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я пойду с вами. Не как вождь — как проводник. Не как судья — как свидетель. Не как спаситель — как тот, кто помнит. Идёмте.

Он пожал руку Руна. Холодную, дрожащую, но живую.

VII

Брин наблюдала за ними из тени.

Она сидела на камне, прислонившись спиной к холодной, гладкой стене, и её доспех трещал при каждом движении. Чёрный, маслянистый, покрытый глубокими трещинами, он пульсировал слабым, голубоватым светом. Тише, чем вчера. Усталее. Как будто сама мысль о том, что сегодня происходит, высосала из него последние силы. Из трещин сочилась пыль — серая, маслянистая, поющая, — но не та, громкая песня, что звучала в «звонящий час», — другая. Тихая, почти неслышная, похожая на шёпот, на вздох, на прощание.

Эйнар посмотрел на неё, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — он увидел то, чего не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Облегчение.

— Ты сделал это, пустой, — сказала она, и голос её был слабым, едва слышным, как шёпот пыли, но в нём, в этой слабости, чувствовалось что-то, чего Эйнар не слышал раньше. Не усталость — покой. — Ты не дал им убить друг друга. Ты не дал им выбрать ненависть. Ты не дал им стать пылью. Это больше, чем сделал бы любой вождь. Даже Гарм. Даже Магнус. Даже я, когда была человеком.

Она замолчала, перевела дыхание. Её грудь под треснувшим доспехом вздымалась тяжело, с присвистом. Пыль из трещин сочилась быстрее, когда она дышала, и Эйнару показалось, что он слышит не только дыхание — он слышит, как её тело рассыпается. Медленно, неотвратно, как рассыпаются кости под тяжестью времени.

— Ты не должна была проходить через это, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была горечь. — Ты не должна была становиться женой того, кто ненавидит тебя. Ты не должна была жертвовать собой ради мира, который не твой. Это несправедливо.

— Справедливость — это роскошь, которую мы не можем себе позволить, — ответила Брин, и в её голосе появились новые нотки — не горечь, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную мудрость. — Справедливость — это то, что остаётся, когда всё остальное исчезает. А мы ещё не исчезли. Мы ещё дышим. Мы ещё идём. Мы ещё помним. Этого достаточно.

VIII

Сайга вышла из-за камня, когда солнце (бледное, почти белое пятно за пеленой облаков) поднялось на высоту двух копий.

Она шла медленно, опираясь на посох, и её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — мутных, почти белых — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался. На шее висел осколок первозеркала — тот самый, который она дала Ирис крошку, — и он пульсировал в такт её дыханию, в такт её сердцу, в такт песне пыли, которая всё ещё звучала где-то на границе слышимости, тихая, далёкая, но живая.

— Кости сказали, — произнесла она, и её голос разнёсся по кругу, заставив воинов замереть, а Стражей опустить глаза, — что сегодня уйдёт старый вождь. И придёт новый. Не тот, кто возьмёт пядь — тот, кто возьмёт память. Не тот, кто прикажет — тот, кто покажет. Не тот, кто заставит бояться — тот, кто заставит помнить.

Она замолчала, перевела дыхание. Её мутные, почти белые глаза скользнули по лицам собравшихся — по воинам Гарма, по Стражам, по Эйнару, по Ирис, по тем, кто пришёл смотреть на этот странный, мрачный переход власти.

— Кости не врут, — продолжала Сайга, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Гарм ушёл. Рун остался. Брин осталась. Пустой остался. Это не случайность — это судьба. Не та, которую

выбирают — та, которую принимают. Примите её. Или умрите. Или исчезните. Или станьте пылью. Выбирайте.

Она замолчала. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга.

IX

Гарм не пришёл на Совет.

Эйнар знал это с самого начала — чувствовал. Вождь сидел где-то на юге, в серой, маслянистой дымке, и его единственный глаз — светлый, почти бесцветный, с точечным зрачком — смотрел на небо, на пыль, на пустоту. Он не вмешивался. Он дал воинам свободу — и воины выбрали. Не его — правду.

Воины, которые остались верны Гарму, стояли молча. Их лица были бледными, почти белыми, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не ненависть, не уважение. Пустоту. Они не знали, что делать. Они не знали, кому верить. Они не знали, как жить дальше.

Хьялмар подошёл к Эйнару, остановился в двух шагах. Его лицо было бледным, измождённым, но в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было усталости. Была гордость.

— Ты сделал это, пустой, — сказал он, и голос его был низким, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось уважение. — Ты заставил их выбрать. Не силой — правдой. Ты сломал власть Гарма, не подняв топора. Это... это дорогого стоит. Ты не воин — ты мудрец. Или безумец. Или то и другое вместе. Но ты — вождь. Не по крови — по духу. Не по приказу — по правде.

Эйнар покачал головой. Медленно, тяжело, как качается старая ветка на ветру, как качается память под тяжестью лет.

— Я не вождь, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, но в этой ровности была усталость. — Я — пустой. Я — тот, кто идёт к Мельнице. Я не могу править. Я могу только идти. Или стоять. Или падать. Но я не могу сидеть на троне и судить. Это не моя судьба.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Понимание.

— Тогда иди, — сказал он. — А мы пойдём за тобой. Не как подданные — как равные. Не как рабы — как свободные. Мы выбрали правду. Теперь мы должны идти до конца. Или умереть, пытаясь. Или исчезнуть. Или стать пылью. Неважно. Мы идём.

Часть третья: Клинок и тень

X

Ирис подошла к нему, когда воины начали расходиться.

Её лицо было бледным, почти прозрачным, но в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — горел огонь. Тот самый, который не погас, не выцвел, не сломался. Она не плакала. Не улыбалась. Просто стояла рядом, как тень, как обещание, как память.

— Ты не должен быть один, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Даже когда думаешь, что должен. Даже когда кажется, что никто не поймёт. Даже когда боль становится слишком сильной. Я здесь. Я рядом. Я не уйду.

— Я знаю, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную благодарность. — Я знаю, Ирис. Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Я не забуду. Я запомню. Даже когда всё остальное исчезнет.

Он сжал её руку — холодную, дрожащую, но живую — и закрыл глаза.

XI

Брин подошла к Руну, когда лагерь затих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.